

Сергей Поварцов



ТЁПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Поварцов

ТЁПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

**Страницы
литературного дневника**

Омск
2014

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6
П42

Поварцов С.Н.

П42 Тёплое течение. Страницы литературного дневника /
Вступ. ст. В. Физикова. – Омск, 2014. – 232 с.

ISBN 978-5-8042-0346-8

Книга известного омского литератора, литературного и театрального критика Сергея Поварцова включает мемуары о встречах с сибирияками, рецензии на монографии историков литературы XX века, статьи и отзывы об омских изданиях.

«Жанр новой книги С.Н. Поварцова... обозначен скорее метафорически: страницы литературного дневника. Однако, соединяясь с другой метафорой – заглавия, дневниковая задушевность и искренность настраивают на благожелательную внимательность. Тем более, что практически в каждом коротком сюжете нас ждёт открытие...» – пишет в предисловии к изданию литературовед В.М. Физиков.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

**УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6**

ISBN 978-5-8042-0346-8

© Поварцов С.Н., 2014
© Министерство культуры
Омской области, 2014

ПРОЗА УЧЁНОГО, КРИТИКА, КРАЕВЕДА

Пять с лишним лет назад Сергей Поварцов, коренной омич, преподаватель университета, литератор, уехал из нашего города. Его хорошо знали, очень любили и ценили многие из тех, кто имел отношение к профессиональной журналистике, литературе, культуре. Благодаря литературно-краеведческим поискам, многочисленным публикациям, постоянному сотрудничеству с сибирскими и московскими «толстыми» журналами, его деятельность занимала особое место в культурной жизни Омска. Литературных и театральных критиков, а тем более систематически и плодотворно пишущих филологов в провинции всегда было мало. А с отъездом в иные края Виктора Калиша и Евсея Цейтлина и особенно с уходом Е.И. Беленького и Э.Г. Шика стало совсем худо. К тому же Бог наградил Поварцова многими талантами: поэтическим даром и искренним интересом к театральному искусству, лёгким пером и тонким вкусом к слову, чтобы не лезть за ним всякий раз в карман и не мучиться с интонацией, слогом, жанром высказывания. А ещё – превосходной способностью найти душевно-человеческий или деловой контакт с собеседником: помогали истинная толерантность, эрудиция, врождённая интеллигентность. Но в чём он всегда был и остаётся настоящим мастером, единственным среди нас, так это в неутомимой, неустанной страсти – пока не поздно! – собирать всё, что можно, о литературе края. Кто, если не мы?! Дотошным образом изучать архивы, старую периодику, искать тех, кто что-то или кого-то знал, завести переписку, расспросить и записать услышанное. Спасать редкие издания, письма, артефакты, фото, документы, успеть зафиксировать ещё «живыми» старинные дома, улицы и т. д., и т. д.

Всем этим он с давних лет – ещё смолodu – владел совершенно и не уставал поражаться нашей лености и безответственности. Результатом многодесятилетнего и разнообразного труда автора стали скрупулёзно собранная книжка о молодости Леонида Мартынова «Над рекой Тишиной», и блистательная монография на его главную научную тему – о жизни и смерти Исаака Бабеля, и пилотные собрания стихов талантливых поэтов Серебряного века, литературно-критических работ Д.С. Мережковского, «Пушкин в сердцах омичей», документов и откликов о посещении нашего края А.И. Солженицыным во время его исторического возвращения в Россию...

И вот Поварцов уехал жить в Краснодар – так сложилась судьба. И все годы вдали от родного города очень о нём тоскует. О друзьях, о дружелюбной для себя среде, о родных могилах на Старо-Северном кладбище... Не раз и не два он возвращается к своей сердечной смуте

в литературном дневнике: «Жить вдали от родной почвы и не вращать в новую – штука тяжёлая». Сказано вроде о Вильяме Озолине – тот вынужден был покинуть Омск, но, судя по письмам, «в последние годы возвращение на родину было главной его мечтой». И разве не слышим мы здесь голос самого автора?

Все пять с половиной лет он, как всегда, много работает для литературы. Написаны книжка-конспект о любимом Бабеле, мемуары о встречах с сибиряками, рецензии на монографии историков литературы XX века, статьи и отзывы об омских изданиях.

Жанр новой книги С.Н. Поварцова «Тёплое течение», выходящей десять лет спустя после тоже юбилейной «Омской стрелки» (2003), содержательно продолжает её традиции и отчасти найденную там форму сочетания глав – дружеских откликов с рецензиями и статьями. Но жанр обозначен скорее метафорически: страницы литературного дневника. Однако, соединяясь с другой метафорой – заглавия, дневниковая задушевность и искренность настраивают на благожелательную внимательность. Тем более, что практически в каждом коротком сюжете нас ждёт открытие. Так, впервые публикуется большой очерк жизни и творчества Петра Николаевича Ребрина, которому автор уверенно возвращает статус самобытного писателя-художника. Я не оговорился: для широкого читателя это прозвучало впервые – статьи о нашем земляке в научных изданиях университетов, а тем более кандидатские диссертации о нём (И.Б. Гладковой, М.А. Зайцевой), к сожалению, малодоступны.

Писательская судьба Ребрина была трудной. Молодые сотоварищи-радиожурналисты скептически посмеивались над его пристрастием к беллетристике. Сам Пётр Николаевич мучительно сомневался в художественных возможностях своего слова. Партийная критика хрущёвских времён беспощадно ударила по лучшим сборникам его очерков, в первую очередь – по книге «Головырино, Головырино», напечатанной в московском альманахе «Наш современник» (1963). Лишь после смерти П.Н. Ребрина, в канун социальной перестройки в стране, известные писатели и публицисты в некрологе «Литературной газеты» по достоинству оценили повесть сибиряка как «вещь высокопоэтическую и беспримерно правдивую»... Сергей Поварцов подробно рассказывает, как непросто, но неуклонно развивался и креп в Петре Ребрине писатель-художник. Автор видит его талант «типичного шестидесятника сибирской глубинки» масштабно, в широком контексте жизни общества и отечественной литературы, в частности – эволюции лучших образцов жанра деревенского

очерка. Говоря о главных проблемах, которые не давали покоя Ребрину, о его боли сердечной за сибирскую деревню (а он «умел понимать язык земли»), Поварцов не скрывает своей любви к слову писателя: «мне радостно читать Ребрину...»; «я любовался умением автора живописать портреты сажинцев...». И наконец – обобщение: «То была совестливая публицистика высочайшего класса».

Особое место в памяти сердца автора занимает мемуар о нашем земляке, известном не только в Сибири прекрасном поэте Вильяме Озолине. Десять лет назад в «Омской стрелке» Поварцов писал о нём ещё живом, «юбилейном», неутомимом. Теперь – уже прощание. Озолин – это дружба, рождённая в годы студенческой юности, это влюблённость в мир поэзии, а значит, и единая «группа крови». Это и романтическая свобода молодости, «бурная и задиристая». И разве удивительно, что в повествовании об Озолине мы то и дело находим черты прозы поэта: «Он оставлял политику на другой территории, избегал её, ревниво оберегая чистоту лирического родника. Благодаря Вильяму я достаточно рано понял, может быть, самое главное: мало уметь сочинять стихи, пусть и хорошие. Надо жить, как поэт. Вильям сознательно делал себе биографию...» И, конечно, автор, как всегда, делится с нами литературно-краеведческими разысканиями, сообщая труднодоступные сведения генеалогии рода Озолиных, о матери Вильяма и его отце, погибшем по ложному обвинению в годы Большого террора. Это одна из главных тем, что многие годы, как пепел Клааса, живёт в памяти исследователя и гражданина и во многом определяет выбор его героев: Бабель, братья Васильевы, семья Озолиных, уничтоженные омские интеллигенты, Леонид Шевчук, Э.Г. Шик...

Не прибегая к тонкостям филологического анализа, Сергей Поварцов создаёт яркий и точный портрет Вильяма Озолина, выделяя в нём наиболее глубокие и характерные черты: открытость для общения, лёгкость дыхания, неотразимость мужского обаяния. Духовная близость с героем очерка помогает автору найти оригинальные акценты в комментариях к поэтике и художественному методу стихов друга: «Тема дальних северных странствий хотя и несла в себе специфическую экзотику, но по большому счёту выражала сыновнее чувство любви к рано погибшему отцу. Вильям как бы продолжал жизнь отца, подстреленного на взлёте». Лиризм очерка об Озолине определяется также скрещением общего мотива автора и его героя – драмы «чужого пространства», тоски по малой родине. «На склоне лет, – признаётся Сергей Поварцов, – у многих отъехавших в дальние края отчий дом обретает черты невыразимо прекрасной сказки, куда хочется вернуться во что бы то ни стало».

Этот родной голос, донёсшийся с далёкого благодатного юга в суровую заснеженную Сибирь, дорог нам как воплощённое в живом слове плодотворное чувство родины.

Противоречивое впечатление вызывает чтение мемуарно-аналитической главы о Леониде Васильевиче Шевчуке, старшем друге автора и «ярчайшей фигуре в среде творческой интеллигенции» Омска второй половины прошлого века, литераторе ещё более сложной, чем Ребрин или Озолин, судьбы. Он всегда стремился к внутренней свободе, и не может не вызвать сочувствия мечта по-настоящему даровитого Л. Шевчука о профессиональном писательстве и невозможность реализовать свои способности. Но что помешало? И каков тип личности этого действительно незаурядного человека? Диссидент, как были убеждены «начальствующие персоны в погонах и без погон» да и некоторые историки, писавшие о нём, или «озорник, законопослушный гражданин», как оценивает его Сергей Поварцов; смельчак, решившийся в одиночку бороться самиздатовским острословием с удущем социально-безнравственной системы советского Левиафана? А может быть, постоянная нацеленность на борьбу с разнообразным злом, погружённость в скептицизм и сатиру истощили талант Леонида Шевчука? Сложная нравственная проблема возникает едва ли не впервые на новом материале.

Я обрадовался, найдя в энциклопедии Омска (2011) большую статью о Л.В. Шевчуке, написанную С.Г. Сизовым. Он давно занимается историей политических репрессий, инакомыслия в Западной Сибири, опубликовал монографию «"Двадцатый век — не для камина": Историческая реконструкция судьбы репрессированного литератора Бориса Леонова» (2008), многочисленные статьи, в том числе и о Л. Шевчуке. К сожалению, в энциклопедии не обошлось без досадной ошибки. Из опубликованных мемуарных свидетельств мы знаем о мужественном выступлении Леонида Шевчука на собрании литфака Омского педагогического института, когда студент-второкурсник **один** посмел публично выступить против шельмования Зощенко и Ахматовой в погромном докладе А. Жданова и печально знаменитом постановлении ЦК партии 1946 г. Почему студента-филолога по тем временам «пощадили» и дали закончить вуз, неизвестно, но понятно, по каким причинам его литературному творчеству, тем более в иронико-сатирической форме, на долгие годы «позволено» было существовать, за редким исключением, о чём пишет Сергей Поварцов, только в так называемом самиздате. Узнав из Омской энциклопедии, что в «Сибирских огнях» (1959, № 5) была напечатана статья литературного критика и преподавателя педагогического вуза Е.И. Беленького о стихах Леонида Шевчука, я, конечно, разыскал журнал, в надежде найти раритетные произведения омского литератора, их критический анализ. Однако на указан-

ных страницах рецензии ни единого слова о Шевчуке не оказалось. А так хотелось бы понять, например, из работы профессионального литератора, действительно ли столь необходима и органична была в поэзии омского озорника ненормативная лексика, что в ней можно видеть не только эпатаж, но и продолжение национальной традиции, начатой ещё «Русскими заветными сказками», собранными в народе А.Н. Афанасьевым.

Короткий рассказ о дружбе с В.Г. Утковым напоминает нам о выдающемся поэте XX века, нашем земляке Л.Н. Мартынове и полузабытой традиции проведения в его честь большого литературного праздника в Омске, сбережения всего, что связано с памятью о нём на сибирской родине. Думаю, стоит напомнить, что С.Н. Поварцов был инициатором и главным генератором идей «Мартыновских чтений». Он уехал, и в который раз задумываешься о роли отдельной личности в жизненном процессе.

История братьев Васильевых не могла не попасть в эту книгу по многим причинам. Павел Васильев, один из самых крупных поэтов советской эпохи, биографически и творчески очень близок омичам. И не случайно его яркая, как метеор, трагическая и прекрасная судьба стала сюжетом документального телефильма «Глуг воспоминаний» по сценарию Поварцова. Младший брат Павла Виктор Николаевич прошёл через ГУЛАГ. Даже после реабилитации, оставаясь изгоем и начав писать стихи и прозу, долго «жил как бы в тени известного брата». Здесь, в очерковом мемуаре, автор знакомит нас «из первых рук» с документальной правдой о покалеченной, но не убитой репрессиями жизни талантливого Васильева-младшего, а его проза получает первый опыт профессионального анализа.

Почему сегодня было так важно написать очерк об Александре Степановиче Санине, воине из брестской легенды? И потому, что автор – «сын войны» из послевоенного поколения. И потому, что правда о Великой Отечественной с годами тускнеет, постепенно стирается из памяти даже нашего, победившего, народа. И потому, что волею судьбы Сергей Поварцов был знаком с Саниным, директором омской школы № 12, где учительствовала его мама. Он помнит его рассказы о первых неделях войны, о Брестской крепости. Из драгоценных крупиц пережитого в детстве родился глубокий интерес на всю взрослую жизнь. Жаль, конечно, что так и не состоялся замысел телевизионного фильма о Санине, подобного тому, что был в своё вре-

мя сделан о Павле Васильеве. Но в памяти остались долгие беседы с Александром Степановичем о старом Омске, подробный рассказ о героическом сопротивлении Брестской цитадели, о трагизме и мужестве плена, о драме послевоенной участи бывших военнопленных, когда даже так называемые порядочные люди осторожничали или – увы! – вели себя предательски. Воспоминания А.С. Санина, бережно сохранённые С. Поварцовым и теперь ставшие нашим общим достоянием, раскрывают и ещё одну тайну той воистину Великой нашей войны (миф о Потапове), восстанавливая историческую справедливость, добавляя существенный штрих в правду о войне.

В очерке о художнике Николае Третьякове, как и во всём первом разделе книги, особенное значение имеет мемуарная составляющая. О встрече студентов шестидесятых годов с талантливыми омскими живописцами, которые в годы юности автора официально аттестовались властью как формалисты и авангардисты, но которыми давно и по праву Омск гордится. Глава о личности и своеобразии таланта Николая Яковлевича Третьякова написана легко, изящно. Творческий портрет мастера представлен в контексте времени глубокими, сжатыми формулами: «Третьяков никогда не шёл "в ногу", но неизменно боролся с обстоятельствами, не терял лица. Он жил и творил в состоянии постоянного напряжения...» «Когда внимательно всматриваешься в композиции Николая Яковлевича, появляется догадка, что ему было тесно в нормах станковой живописи, рамки холста или картона словно сдерживали полёт его фантазии. Отсюда утрирование пропорций, интенсивность условных элементов в урбанистических пейзажах». Описание произведений (экфрасис) в очерке Поварцова, наверное, могло быть и более обширным и впечатляющим. Впрочем, это компенсируется тем, что талант художника увиден сквозь призму действия эстетического закона, универсального для любой эпохи, – «расширения художественной впечатлительности».

Мемуар о встречах с профессором В.В. Берниковым, помимо любопытных подробностей литературной жизни Омска 1920-х годов, а также – о Горьком и русской эмиграции в Париже, великолепно демонстрирует метод и приёмы работы литературного краеведа, внимание к изучению родословной «героя», необходимость пояснений комментатора. Записи бесед Поварцова открывают перспективу для будущих увлекательных разысканий.

Второй раздел книги содержит историко-литературные работы С.Н. Поварцова последних лет, большей частью тоже связанные с Омском и

опубликованные, как и рецензии, составившие третий раздел, в авторитетном литературоведческом журнале «Вопросы литературы» (Москва). Так, несомненный интерес представляет авторская версия сибирского периода биографии классика советской литературы Всеволода Иванова, который в молодые свои годы в колчаковском Омске служил рабочим-наборщиком и между иными занятиями нелегально набрал первую книжку своих рассказов «Рогульки», издав её под псевдонимом В. Тараканов. Сергей Поварцов вводит обширный корпус историко-литературных и архивных материалов, попутно восстанавливая правду о загадочной и уникальной судьбе редактора издававшейся в нашем городе фронтовой газеты «Вперёд» полковника Янчевецкого, впоследствии знаменитого исторического романиста В.Г. Яна, что позволяет автору вполне доказательно и корректно разобраться в сложных переплетениях политических пристрастий молодого Всеволода Иванова, сняв с него клевету и наветы, в том числе и содержащиеся в «литературных» доносах Антона Сорокина. Безусловно плодотворной является также постановка автором проблемы творческого метода Вс. Иванова, которому были узки рамки социалистического реализма, а метания молодости как своего рода зарубки памяти сдерживали внутреннюю свободу многогранного дарования писателя.

Тонкое чутьё поэтического слова известно в Сергее Поварцове с юности. Он не только писал и пишет стихи. Его, кажется, единственного из омичей, не считая, разумеется, Роберта Рождественского, в студенческие годы печатала московская «Юность». Через «поэтические врата» он пришёл в критику и литературоведение. Статьи, представленные в юбилейном сборнике, демонстрируют зрелое мастерство различных способов изучения стихотворного текста. Так, анализ знаменитого стихотворения Леонида Мартынова «Эрцинский лес» через историю его создания и публикации на широком историко-литературном фоне даёт возможность Поварцову справедливо видеть в произведении гражданский п о с т у п о к поэта. Нельзя не оценить по достоинству и открытие многослойности системы художественной образности «Эрцинского леса» в историко-литературной работе автора. Оно стало возможным на основе его архивно-краеведческих находок и укрепило аргументированность оригинального прочтения произведения.

Оставаясь в теперешней южной дали нашим земляком-омичом не только по рождению, но и по направленности профессиональных и душевных интересов, Сергей Поварцов не мог не откликнуться рецензией на радиокнижку своего давнего друга, умершего после долгой тяжёлой болезни, талантливого омского журналиста Леонида Яковлевича Кудрявского «Прощание с веком», бережно подготовленную к печати Галиной Кудрявской и коллегами-радийцами.

Двенадцать часов радиозфира, запечатлённые теперь и на бумажном листе, – это попытка авторитетных профессионалов науки, деятелей искусства понять и осмыслить наиболее характерные черты уходящего века на пороге нового тысячелетия. Прав автор рецензии: этот волнующий документ эпохи ценен как «одна из форм проявления национального сознания». Соглашаясь с трагическим диагнозом XX века в России, хочется вместе с автором ответить на самый сложный и пока не решённый вопрос – за что нам этот крест? Скороговоркой решить его не получается. И уже очевидно, что причин для оптимизма и веры в скорые перемены жизни россиян в лучшую сторону пока маловато.

Читателю большей части статей последнего раздела книги Сергея Поварцова потребуется, пожалуй, специальная филологическая подготовка, особенно для текстов, опубликованных ранее в одном из лучших отечественных журналов «Вопросы литературы». Что ж, каждый выберет для чтения то, что ему ближе, интереснее, а автору в книге избранных произведений последнего пятилетия как было не обозначить результатов плодотворного сотрудничества с маститым солидным изданием. Тем более, что длится оно почти сорок лет. Книжечка, полагаю, может особенно привлечь в завершающем разделе рецензия на капитальное исследование архивиста и филолога Б. Фрезинского «Писатели и советские вожди», а специалиста, несомненно, заинтересуют компетентные и взвешенные отклики (хотя мода на чрезмерное употребление иностранной терминологии иногда мешает) на недавние монографии таких знатоков отечественной литературы и критики XX века, как Мариэтта Чудакова и Наталья Корниенко, тем более, что обе, естественно, по-своему решают актуальный вопрос: что же произошло с русской литературой в минувшем веке – «война за души всех деятелей культуры продолжалась вплоть до 1991 года».

Резюмируя всё сказанное, можно с полной уверенностью заключить: отродно видеть, как успешно сочетаются в литературном творчестве Сергея Поварцова высокий академический уровень с нелицеприятной критикой и ответственным литературным краеведением, а также как необходимы для автора живые связи с его малой родиной – холодноватый, но по-прежнему плодоносящий Омский Прииртышье.

Вадим Физиков,
кандидат филологических наук

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯМ



Эта книга — итог кропотливой работы за последние пять лет. Первый раздел можно назвать данью памяти тем, кто дорог и оставил прочный след в жизни автора. Жанр обозначить сложно: наряду с портретами найдутся страницы историко-литературного характера. Отчасти очерковая проза, сугубо документальная, и в каждом сюжете есть мемуарная составляющая, более или менее мотивированная. Говоря проще, — гибрид. Читатель сам разберётся, каков он на вкус.

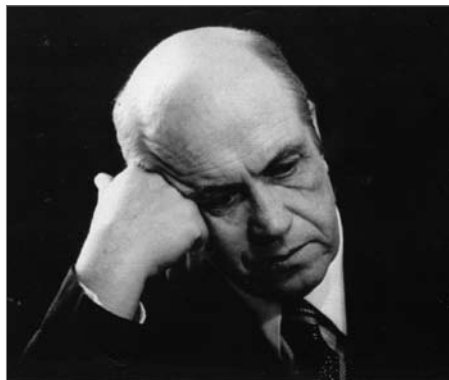
Все, о ком пишу, достойны отдельных биографических исследований, полного метра, как любят сегодня выражаться современные кинематографисты. Я убеждён, что в ближайшее время они появятся.

Два других раздела не требуют каких-либо специальных пояснений. Так или иначе заявленные темы тоже связаны с омской ойкуменой, хотя и не абсолютно. Но глубинная связь глобального и регионального очевидна, поскольку все процессы находятся в границах единого культурного пространства.

Книга адресована всем, кто интересуется жизнью и творчеством сибиряков, а также проблемами литературной критики и краеведения.

С наилучшими пожеланиями
Автор

ПЁТР РЕБРИН



I

О Петре Николаевиче Ребрине я впервые узнал из передач Омского радио. В конце пятидесятых да и позже каждое утро после семи часов выходил блок новостных материалов, подготовленных журналистами радиокомитета. Наш скромный приёмник стоял на кухне. Перед началом занятий, за завтраком, я приобщался к официальной хронике текущих событий. Звучали интервью, часто репортажи (в записи) с мест, а также милицейские сюжеты, сообщения о новинках театра и кино. И всё завершалось обязательным прогнозом погоды на день. В этом раннем эфире аграрная тема, как правило, занимала главенствующее место. Вёл передачу Ребрин. Написанные им тексты читали дикторы, обычно В. Шестаков и К. Рабинович, но если шла запись его беседы с кем-то из тружеников села, можно было слышать и голос автора. Мне, городскому юнцу, темы Ребрин казались скучными, по крайней мере в такую рань, хотя всё же я чувствовал, что журналист говорит о важном. Современная деревня для многих из нас была не ближе Луны. Кроме дачного посёлка Чернолучье, расположенного в сорока километрах от Омска, я нигде не бывал, поэтому названия омских районов или

колхозов воспринимались отвлечённо. Прошло много лет, и оказалось, что именно радиосюжеты Ребрина хранятся в закоулках памяти, пусть и смутно. Главное всегда остаётся.

...Я не сразу узнал, что он – участник великой войны, отдавший нашей армии четыре года. В мае 1946-го Ребрин ещё числился слушателем резервного 56-го офицерского полка в Рязани. Потом демобилизация, Омск. Это скорее всего по семейным обстоятельствам. Родители его, покинув гнездо в Тюмени, перебрались в Омск, где в 1935-м купили свой дом. Время не сладкое. В анкетном листе Ребрина (1951 г.) я обратил внимание на ответ по 19-му пункту, где требовалось пояснить, привлекались ли к суду, следствию и подвергались ли наказаниям в судебном порядке ближайшие родственники. Коротко записано: «Привлекался отец в 1938 г., был арестован». О судьбе Николая Петровича Ребрина можно только догадываться. А о себе сын расскажет в автобиографии, когда будет поступать на работу в редакцию областной газеты «Омская правда». На календаре – июль 1946 года.

«Я, Ребрин Пётр Николаевич, родился 13 января 1915 года в г. Тюмени. Отец мой до революции занимался адвокатурой, а после 1917 г. работал юрисконсультom в различных учреждениях. В 1939 г. он умер.

Мать, Ребрин Александра Польефировна, – домохозяйка, сейчас состоит на моём иждивении.

В 1929 г. я окончил школу 7-летку в г. Тюмени, затем работал на самаровском консервном комбинате, куда переехал работать мой отец, затем уехал в г. Тюмень и поступил на судостроительную верфь в качестве техника-планировщика и работал здесь полтора года. Затем я решил продолжать образование, поступил на 3-й курс рабфака при автодорожном институте, окончил его и поступил на 1-й курс Новосибирского института народного хозяйства, который и окончил в 1938 году и был направлен на работу в Алтайскую краевую плановую комиссию. Работая здесь, я корреспондировал

в газету "Алтайская правда", а затем решил перейти на постоянную газетную работу и переменить свою профессию.

С 1939 г. (июнь) по 1940 г. (июль) я работал сотрудником отдела информации и с/хозотдела в "Алтайской правде", а с сентября 1940-го по август 1941 г. – по момент призыва в армию – работал литературным сотрудником и заведующим с/х отделом газеты "Советская Хакасия".

В 1941 г. был призван в армию и сначала служил в тыловых лыжных частях инструктором лыжной подготовки, а в феврале 1942 г. выехал в составе 281-го отдельного лыжного батальона на фронт. 27 апреля 1942 г. был ранен под г. Ржевом (близ дер. Макарово), лечился в госпитале, после излечения был направлен на курсы младших лейтенантов, учился здесь 9 месяцев, а после окончания был оставлен работать преподавателем физподготовки. Демобилизовался из армии в мае 1946 года. Во время работы на курсах мл. лейтенантов, которые располагались в г. Калинин, я женился на гр. Арсеньевой Антонине Александровне. Она работала старшей воспитательницей в детском саду, но со времени появления детей не работает, занимаясь домашним хозяйством».

В конце жизнеописания Пётр Николаевич, как и полагалось, называл детей и ближайших родственников. И удостоверял написанное: литературный сотрудник промышленного отдела «Омской правды» Ребрин.

Автобиография, каких тысячи у этого поколения. Сразу бросается в глаза Ржев, сами собой шепчутся строки Твардовского.

Я убит подо Ржевом,
Тот ещё под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

Сибиряку повезло – случайно уцелел, но был ранен в бедро и грудную клетку. Бои там шли жестокие... Надо бы как-

то узнать, сколько полегло наших в тех местах. Есть ли такая статистика?

Ещё интересно: в «Омскую правду» взяли на штатную должность беспартийного человека. Возможно, в биографии молодого журналиста решающим фактором было высшее экономическое образование. Специалисты всегда в цене. С коллективом газеты Ребрину предстоит работать неполных девять лет. «Омская правда» ничем не отличалась от всех советских газет эпохи позднего сталинизма. Профессиональных журналистов с довоенным стажем в редакции раз-два и обчёлся: одних репрессировали в конце тридцатых, несколько сотрудников погибло на войне, кто-то уехал из Омска навсегда.

Уже осенью того же сорок шестого года Ребрин становится постоянным автором материалов на сельскохозяйственную тематику. Вот типичные заголовки его корреспонденции: «О цене трудодня и нормах выработки», «Они зовут вперёд», «Знамя над полями», «Гвардейцы трудового фронта». Обычная газетная подёнка, жанр заведомо неудобочитаемый, для начальства актуальный.

Кроме него, об аграрных проблемах в Омской области писал агроном Леонид Иванович Иванов, позднее получивший известность как один из лучших современных очеркистов-деревенщиков. Нередко их материалы появлялись в газете одновременно или в соседних номерах. Подчинённые сугубо производственным задачам, они мало чем отличались друг от друга. Со временем между коллегами возникло нечто вроде соревнования, переросшего в многолетнее соперничество и даже в прямую конфронтацию. Довольно долго первенство Иванова, написавшего, кстати, роман «Сибиряки», считалось бесспорным. Однако вскоре фигура Ребриня сделалась столь же заметной, ситуация в литературной жизни Омска изменилась. Были очевидны перемены и на общесоюзном уровне. Набирала силу деревенская проза, а вместе с ней деревенский очерк во всех своих разновидностях. Сейчас этот жанр фактически умер, как и вообще жанр очерка

на газетно-журнальном поле, а в те «оттепельные» годы он обрёл второе дыхание, очерковая проза осознала себя неотъемлемой частью современной литературы.

В марте 1955 года Ребрин уходит из газеты по собственному желанию, обретая новое место работы – на Омском радио. Мотивы не ясны. Чего-то мы не знаем. Правда, удалось выяснить, что ещё в 1949 году Ребрин пытался устроиться в «Пролетарскую правду» (г. Калинин), ссылаясь на семейные обстоятельства: его жена была родом из Калинина, где они и познакомились. Однако тогдашний редактор «Омской правды» Котов сумел удержать нужного литсотрудника. Спустя шесть лет новый редактор Иван Дмитриевич Фадеев внял просьбам и отпустил, понимая, вероятно, что талантливому человеку неуютно в жёстких рамках официоза. Впрочем, и радиожурналистика находилась под контролем инстанций.

С переходом в радиокомитет профессиональных забот у Ребрина не поубавилось, скорее наоборот. И всё-таки, всё-таки дышалось легче, хотя за качество передач спрашивали не менее строго. Председатель радиокомитета Анна Наумовна Каневская относилась к Ребрину доброжелательно.

В мае Ребрину назначают корреспондентом по группе районов области: Оконешниковского, Горьковского, Калачинского, Нижнеомского с местом пребывания в г. Калачинске. Ему не привыкать к служебным командировкам. С присущей для него пытливостью изучает он колхозную жизнь, география поездок по области расширяется. Приказом Каневской корреспонденту Омского радио меняют районы. Вместо вышеупомянутых появляются Полтавский, Шербакульский, Исилюльский и Москаленский с местом пребывания в Марьяновке. То было время покорения целины и хрущёвской мечты догнать и перегнать Америку. За победы на урожайном фронте 1956 года область удостоилась правительственной награды. Как журналист, много пишущий о селе, не забыт и Ребрин. В январе 1957 года он награждён медалью за участие в освоении целинных и залежных зе-

мель. Власть умело возбуждала энтузиазм советских людей. В октябре в космос запущен первый искусственный спутник Земли. Летом в Москве прошёл Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Парад успехов на земле и в небе рождал в душах светлое, праздничное настроение. В обнадёживающей общественной ситуации креп талант журналиста Ребрин.

В те же годы родился писатель Ребрин. Мало кто знал об этом, разве что председатель радиокomiteта Каневская. Анна Наумовна сочувственно отнеслась к сотруднику, узнав, что у него готова пьеса на актуальную тему. В поисках творческой поддержки Ребрин обращается к Валентину Овечкину, автору публицистически острых очерков «Районные будни». Знавший советскую деревню изнутри Овечкин пользовался заслуженным авторитетом современного классика жанра, всячески ратовал за развитие «колхозной литературы». Адресат был выбран точно.

Сперва Ребрин посылает Овечкину несколько очерков в надежде услышать мнение известного литератора. Овечкин отвечает жёстко, признавая, однако, у талантливого омича «искру Божию». Тон ответа учительский. «Вы, чувствуется, подражаете по форме письма и композиции очерков Леониду Иванову, хорошему писателю. Но то, что сильно получается у одного, то у другого – лишь бледная копия. Подражать не надо никому, надо искать свой голос, своё отношение к материалу, свою манеру подачи этого материала».

Обычные азбучные истины учителя, обращённые к способному ученику. Но этот ученик – дерзкий провинциал, предложивший... работать вместе!

«Предложение Ваше о соавторстве принять не могу, так как очень занят собственными темами. Вообще, Вам надо искать не соавтора, а **свой голос**».

В конце письма Овечкин спрашивает: «А что же Вы не дерётесь за свою пьесу, если считаете, что написали дельную вещь? Пришлите мне её, если хотите. Прочитаю – напишу Вам своё мнение» (октябрь 1958 г.).

Легко сказать: дерись. Как будто член редколлегии «Нового мира» не знает, каково писателю жить «далеко от Москвы». Куда ни кинь, везде клин. К тому же и сам Овечкин живёт «в глубинке» (г. Ташкент). Напрасная строгость. А пьесу Ребрина он прочёл и нашёл, что основной конфликт устарел. Похвалил хороший народный язык, отметил «литературное дарование». Под занавес снова настойчиво советовал не надеяться на соавторов, «особенно когда садишься писать первую свою вещь» (март 1956 г.).

Сценическая и литературная судьба пьесы под названием «Самое дорогое» не сложилась. Работа на радио требовала полной самоотдачи. Ребрин знал, что агитпроп плохо совместим с музами. Руководство ценило его и, когда могло, поощряло то командировкой в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, то внеочередным отпуском без содержания. Хотя редко. Чаще Пётр Николаевич получал выговоры, замечания «на вид» и прочие сюрпризы начальства. По теперешним понятиям поводы к дисциплинарным взысканиям можно считать пустячными. Пропустил очередную летучку. Перепутал фамилии персонажей в корреспонденции. Безответственность! Изучая биографию писателя, я обратил внимание на выбранную им в период обучения специальность. Плановик-экономист по народно-хозяйственному планированию – так указал он в анкете. То есть не аграрий. Разбираться в тонкостях сельскохозяйственного производства пришлось по мере овладения второй, журналистской, профессией. Понятно, что не всё складывалось гладко. Например, в разгар хрущёвской кукурузной эпопеи Ребрину вклеили выговор «за грубую ошибку о пропаганде широкорядного сева кукурузы и противопоставление кукурузы другим культурам». Какой ужас. Ну увлёкся человек, противопоставил, с кем не бывает. Формулировка в приказе услужливо политизировала узкоспециальную проблему растениеводства. Ошибка журналиста, слава Богу, всё же не квалифицировалась как политическая. И на том спасибо.

Если человек наделён даром художника, то любая служба (а СМИ не исключение) рано или поздно начинает его тяготить. Ребрин тянул лямку, мечтая полностью отдаться литературному творчеству. Служебные командировки по районам области давали ему богатейший материал в исследовании сибирских характеров и судеб. С годами это осознавалось как главное дело жизни. В эфире же звучало другое. Вот темы некоторых передач:

Что даёт внутривоспитательная специализация.

Интенсивный откорм скота на специализированной ферме.

Из опыта работы сельскохозяйственной инспекции.

Те, о ком Ребрин рассказывал землякам, кормили страну. Он кормил семью.

II

В учётной карточке писателя 1958 год указан как начало литературной работы. Фактически она началась раньше. Формальным поводом датировки послужила скромная публикация во втором номере альманаха «Наш современник». Название простенькое – «Начало большого пути». Автор рассказал о своей поездке в колхоз имени Ленина Любинского района Омской области. Он пробыл там восемь дней и написал очерк о знатной телятнице Юзефине Андреевне Визе.

Прошло два года, и в феврале 1960-го «Наш современник» опубликовал большой очерк Ребрин «Свет от людей» с подзаголовком «Из сибирских впечатлений». Впечатления омича заметили, похвалили на всероссийском семинаре очеркистов в Ленинграде. Вскоре Омское книжное издательство выпустило «Свет от людей» и ещё несколько очерков под одной обложкой. Десятитысячный тираж был огромным даже для столицы. Ребрин имел право гордиться первой победой: в Москве его впервые назвали «омским писателем» и «художником-очеркистом».

Очерк этот, замечательно названный и заметно отличаю-

щийся от привычных штампов в журналистской практике, действительно излучает свет, настолько привлекательны в нём деревенские работяги и отчётливо заявленная гражданская позиция автора. Приехав в «обезмужичевшую» сибирскую деревню Рассказиху по заданию редакции, он понимает: необходимо расстаться с «готовой» точкой зрения, «идти от фактов», если хочешь узнать правду. Не ахти какое открытие. Между тем такой посыл важен для Ребриня принципиально, потому что он давал возможность преодолевать лукавый журнализм и приближался к способам художественного постижения характеров. Шёл честный разговор с читателем.

«Сколько раз уже бывало так: приедешь в колхоз или совхоз и начнёшь нанизывать на это своё готовое представление всё, что видишь, и вот уже сам не заметил, как выходит из-под твоего пера не то, что есть в жизни, а то, что тебе надо. Я говорю себе, что нужно, пожалуй, идти от непосредственных впечатлений».

Неужели он читал А. Воронского? В то время едва ли. Известный в первые советские годы критик, верный марксистским принципам, вынужден был объяснять, что «у художника должны быть **свои глаза**, чтобы не навредить "живому чувственному созерцанию"». Это звучит как дважды два четыре и ничего худого писателям не сулит. Однако за концепцию непосредственных впечатлений Воронскому порядком досталось от его оппонентов из РАПП. Ребрин был далёк от теорий и опытным путём постигал азы реалистического метода. Он ещё оставался журналистом, но в нём уже упрямо пробуждался художник и крепла вера в свои глаза.

Формально «Свет от людей» – очерк, написанный в связи с жалобой колхозников в областную газету. Журналист едет в командировку с целью разобраться на месте. Увиденное там и запечатлённое в слове значительно превышает формат газетного материала, превращаясь в настоящее исследование народных характеров и насущных социальных проблем. Да, очерк,

но журнальный. Автора привлекают приёмы художественной прозы, если иметь в виду язык и стиль повествования.

«Луна над Ялином действительно была похожа на медный таз – большая, красная, но тусклая. Она ещё не выглядела светилом и казалась бесполезной». Так мог бы увидеть Луну какой-нибудь из «сокровенных человек» Андрея Платонова. И рядом с красотами прииртышского раздолья прозаические реалии крестьянского труда – стогомётки, безотвальная пахота, наземное силосование картофеля.

Без этой прозы производственная сторона очерка была бы искажённой. В то же время повествование не рассчитано на узкого специалиста сельского хозяйства, читателю запоминается иное: портреты колхозников Рассказихи, народная речь, любовно выписанные пейзажи Омского Прииртышья. Всё дорого здесь приезжему человеку, тем паче, что он сибиряк, степняк. Автор радуется тому, «как хорошо и вольготно в степи».

«В июне, когда всё цветёт, в жаркую ветреную погоду травы особенно сильно испускают свой аромат. Пахло всем, что росло, и ветер носил эти запахи по полям. Пахло гречихой, а когда справа, с подветренной стороны попало незасеянное поле, густо заросшее дикой травой, – каким-то чудом уцелевший кусочек натуральной целины, – машина поплыла в густом аромате разнотравья».

Из разговоров с обитателями «обезмужичевшей» Рассказихи вырисовывается довольно суровая картина современной сибирской деревни. Мужики не вернулись с войны, послевоенное руководство оказалось жуликоватым, пенсии у старух мизерные. Поэтому так горько звучит риторический вопрос одного из селян: «Честному колхознику рази есть интерес стараться?».

Образное видение мира сохраняет привлекательность в любые исторические эпохи. Так, например, наш классик Д.В. Григорович говорил о себе, что в его натуре было «художественное чувство». Думаю, это чувство поддаётся воспитанию, раз-

витию. Пётр Николаевич ценил в себе литератора, способного стать мастером. Он верил в своё предназначение.

III

Бывает так, что слава приходит под ручку со скандалом. Ребрин встретил эту парочку в конце 1963 года. Дело давнее, поэтому вкратце напомним историю вопроса.

В мартовском номере альманаха «Наш современник» появилась новая вещь омича «Головырино, Головырино...». Жанр публикации редакция обозначила как «социальные этюды». Деревенская проза только начиналась. Ещё не напечатано «Привычное дело» В. Белова, из трилогии Ф. Абрамова «Пряслины» к читателю пришёл лишь первый роман. Но уже мощно заявила о себе публицистика на деревенскую тему, и Ребрин не чувствовал творческого одиночества. Его этюды написаны по материалам наблюдений из жизни многих колхозов Омской области, хотя, как признавался автор, главным образом сельхозартели имени Ленина Москаленского района. Критики называли «Головырино» повестью, имея в виду объём и приёмы художественной прозы. Сам Ребрин объяснял потом, что писал исследование колхозных типов и предложенных жизнью обстоятельств. Что касается оглядки автора на лучшие образцы русской классики, то выпуклая реалистическая фактура повести говорит сама за себя. Зоркий, дотошный, Пётр Николаевич умел видеть поэзию не лёгкого крестьянского труда.

«За тяжёлой дверью фермы стояли запахи навоза, силоса, густой сырости, острые, но не неприятные. Из рассеянного полумрака выступали выхваченные светом редких лампочек пятна с коровьими задами и спинами. Во влажном тугом воздухе звуки были мягкими и приглушёнными. Вот тут где-то рядом цвиркали струйки молока о ведро, а через пять шагов – я шёл не спеша по коровнику – были уже другие звуки: слышно, как корова жуёт жвачку, а ещё через пять шагов до-

летел до меня шумный коровий вздох, и опять зацвиркали струйки молока».

Автор скромно называет себя «журналистом, связанным с селом», и это было правдой для тех омичей, которые слышали его радиопередачи. Кто знал Петра Николаевича близко, понимали: рядом живёт талантливый художник, болеющий за судьбу сибирской деревни.

Где-то в начале повествования Ребрин вспоминает совет Льва Толстого, «уверявшего, что "почувствовать", понять человека можно тогда, когда сумеешь сделаться "равным" с ним, оказаться как бы на его уровне». И он следует толстовской подсказке в обрисовке характеров, что позволяет ему подняться на ступеньку выше – живописать сельские типы. Им движет страстное желание понять тех, кто живёт в Головырино и соседней Патровке. Симпатии писателя, понятно, отданы не местным начальникам. О них сказано не без сарказма как о людях в белых валенках. Мелькает и знакомый обобщённый образ «человека с портфелем». Ребрину интересен прежде всего работага, хотя тип совхозно-колхозного руководителя тоже является, говоря словами Гоголя, предметом его пера. Самые удачные (для меня) в портретной галерее повести – это образы женщин-сибирячек, таких, как многострадальная свинарка Василиха, похоронившая двух дочерей и оставшаяся на старости лет в одиночестве. Или вот бедовая доверчивая девушка Фанька. А центральный женский образ – доярка Ольга Замаятина, честная, лучшая в работе, переведённая из Головырино на патровскую ферму «в порядке шефства». Передовики производства были любимыми героями советской литературы. Ребрин увидел оборотную сторону праздничной медали. Ольгу искусственно делали «маяком» и «гагановкой», но, перейдя в отстающую бригаду, женщина уже не смогла добиться прежних успехов в силу объективных причин. Между тем своё положение Ольга стала воспринимать как должное, положение человека «на особицу», но поставленного, к сожалению, в ложное по-

ложение. После Ребрина эта коллизия найдёт художественное воплощение в повести В. Тендрякова «Подёнка – век короткий». Совесть Настя, «нянька при свиньях», не может жить по лжи, поросятадохнут, женщина в смятении. Страх разоблачения толкает Настю на поджог свинарника. История эта заканчивается у Тендрякова отчаянным публицистическим возгласом: «Люди добрые, спасите Настю».

Оба писателя своевременно сигнализировали об опасности дутых фигур в общественной жизни, показали механизм такого превращения честных тружеников в заложников системы. Ольга, кажется, почти смирилась с новой для неё ролью, Настя нет. То была эпоха закатного хрущёвского беснования на идеологическом фронте. В конце 1962 года генсек в сопровождении соратников нагрянул в Манеж на выставку художников авангардного направления. Доктор искусствоведения Н. Воронов вспоминает: «Не успел он (Хрущёв) подняться на последнюю ступеньку, как начал кричать:

– Собачье мясо! Мерзость! Безмозглая мазня! Кто главный?»

Когда Эрнст Неизвестный пробовал спорить с Хрущёвым, кто-то из свиты пригрозил скульптору урановыми рудниками. Сейчас в это трудно поверить, но так было.

«Головырино» вышло в свет в марте 1963-го. И как раз тогда Никита закатил встречу с деятелями литературы и искусства. Главная его мысль сводилась к тому, что «некоторые» норовят судить о жизни «только по запахам отхожих мест», роются в мусорных ямах, а картины «малюют» мрачными красками. Летом состоялся пленум по тем же актуальным вопросам, где впервые заговорили об «идеологической диверсии». Пошла волна, накрывшая и омского литератора Ребрина. На самом высоком государственном уровне повесть (её также называют очерком) признали идейно порочным произведением, клеветническим и к тому же «написанным грубым, вульгарным языком» с обилием «пошлых сцен». Что-то в этом духе писал в «Коммунисте» чиновник, отвечающий за сельское хозяй-

ство. Ни одно из обвинений в адрес автора не подтверждается реальным текстом. Никаким идеологическим диверсантом Пётр Николаевич, конечно, не был.

В статье «Коммуниста» критиковались и другие писатели, пишущие о современной деревне, – Ф. Абрамов, Л. Иванов, В. Пальмин. Все крепкие профессионалы. Их мягко пожурить. Мягко по сравнению с Ребриным. Но почему же именно ему ударили в лицо так больно? Вот моя версия.

Ведь что сделал Ребрин? Он взял две деревни, Головырино и Патровку, полагая извлечь из соблазнительного сопоставления/противопоставления полезный социальный урок. «Столкнувшись задами, лицом деревни смотрят в разные стороны!» Выясняется, что эти деревни – антагонисты, и взаимоотношения у людей соответственные, то есть напряжённые. В их основе лежат неизжитые классовые противоречия. Головырино, где всё удачно, грамотно и по-хозяйски, населяют потомки бывшего кулачья из Центральной России. Они выполняют план, имеют приусадебное хозяйство, о коем пекутся в первую очередь, открыто тем самым демонстрируя мелкие частнособственнические интересы. Иное дело – Патровка. О тех, кто там живёт, пущен слух как о «сумочниках» никчёмных и второсортных: «Двум свиньям щей не разольют». Автор спрашивает:

– А почему?

– А кто их знает. Коммуна тут была...

Автор, герой-рассказчик, он же и журналист, связанный с селом, ничего не принимает на веру, об одном и том же спрашивает у разных людей. Многое ему разъясняет бывший председатель патровского колхоза Ячменёв. Головырино, говорит он, «хитрая деревня». Пахотной земли у них меньше, стало быть, и план хлебосдачи тоже. А народу там больше.

Да, но как же быть с коммунарами тридцатых годов, основателями деревни? И на этот вопрос у Ячменёва есть свой ответ. «Тут коммуна была в Патровке, а те богатенькие приехали. Они в колхозик никого не принимали, так и жили.

А в Патровке славный народ, отовсюду стекались, сбор Богородице, как говорится».

Получалось, что крепкая крестьянская (она же кулацкая) закваска оказалась основой жизнеспособного хозяйствующего субъекта не в пример тем хозяйствам, руководители которых щеголяли в белых валенках. Понятно, что белые валенки приняли повесть Ребрина в штывы, увидели в ней дерзкий вызов. Наказание было неизбежным, оно воспоследовало. Через несколько месяцев после статьи в журнале на родине писателя ему устроили проработку. Суд общественности прошёл по накатанному сценарию. Ребрин подробно описал общегородское собрание интеллигенции в дневнике, фрагменты из которого опубликовала омский литературовед Ирина Гладкова. Читаешь – и стыдно за интеллигенцию, понимая в то же время, что она была подневольна.

А могло бы сложиться иначе, не сделай Пётр Николаевич двух ошибок. Первая – чисто писательская, обусловленная фантазией автора: поставить в стык, задами друг к другу Головырино и Патровку. По-видимому, этого требовала общая конструкция повести. На резких контрастах вещь должна стать более выпуклой, убедительной.

Другой промах – уступка редакторской воле. В 1966 году Ребрин прояснил ситуацию: «Редакция "Нашего современника", не спросив автора, назвала очерк повестью. Вторая половина его была отрезана (с согласия автора). Впоследствии я написал вторую часть заново и понял, что очерк трансформировался в повесть. После переписки с издательством "Советский писатель", где повесть должна выйти отдельной книгой, решил показать более или менее полную победу над старым, процесс победы».

Выходит, авторский замысел был шире! В отрезанной части, если исходить из логики текста, автор исследовал Патровку. Процесс переработки повлёк за собой жанровые метаморфозы, и появилась надежда, что московское издательство выпустит книгу Ребрина уже не как очерковое со-

чинение, а как полноценное художественное произведение. Но этого не произошло. В писательском дневнике о компромиссе с «Нашим современником» рассказано так: «Я протестовал против урезанного варианта, но меня уговорили: "Резче будет, поймите! Вещь сильнее будет". Может быть, и сильнее, но ведь тогда и я не сидел бы здесь таким цуциком, которого так удобно пинать. Вспомнилось, как перед свечкой я укорял себя и редакцию за то, что согласился на их вариант». Случай Ребрина не был чем-то исключительным в литературно-политической жизни страны. Проработки, наезды, санкции и прочие меры идеологической профилактики по отношению к строптивым авторам власть применяла в течение десятилетий систематически. Однако и у русских писателей верность реализму, жизненной правде можно назвать устойчивой традицией. Взять, допустим, «Деревню» Ивана Бунина. В 1911 году критик журнала «Современник» сокрушался: «Картинки, которые он рисует, безнадежно мрачны. Народ у него грубый, мелочный, тупой, бессмысленно жестокий... То тёмное, что он рассказывал, — правда. Но полная ли правда? Неужели же так-таки нет в деревнях никаких просветов? Не может быть». Не хотелось верить, страшно. По-человечески, впрочем, понятно. Вот и Корней Чуковский обмолвился: повесть Бунина «безнадежно черна». Но тогда никому в голову не пришла мысль назвать писателя клеветником.

1989 год. Известный прозаик Владимир Крупин, руководитель творческого семинара молодых литераторов, делится впечатлениями от прочитанного: «Десять дней непрерывного чтения рукописей и их обсуждения. К концу этих дней уже трудно было засыпать без снотворного: лагеря, тюрьмы, проволока, собаки, произвол милиции, убийства, драки, воровство, голод, грязь, ужасы будней армии, нищета, разруха, безотцовщина, разорённые деревни... — всё то, что именуется на редакторском жаргоне "чернухой", в обилии заполняло работы молодых прозаиков России. Они не виноваты, эти

прозаики, таким им досталось родимое Отечество, они болеют его болями, и они пишут правду».

2010 год. Автор романа «Елтышевы» Р. Сенчин не боится тяжких обобщений, признаётся в интервью: «Россия гибнет, и гибель эту может остановить только какое-то всенародное осознание и порыв выжить. Но ощущения, что тот порыв появится, у меня нет... Судя по литературе, деревня наша и сто лет была полумёртвой, нищей, больной».

Так в чём же был виноват Ребрин? Ни в чём. Он назовёт «Головырино» гибридом очерка и повести. Можно и по-другому: очерковая проза. Это всё-таки лучше «социальных этюдов», не так претенциозно. И поскольку очерк остаётся главным жанром в творчестве Петра Николаевича, надо сделать хотя бы краткий экскурс в биографию **советского** очерка.

IV

Становление Ребрина как писателя, формирование его художественного вкуса совпало с расцветом жанра. Очерк любили и литераторы, и советское начальство. В первом случае я имею в виду возможность заработка, а у руководителей очерк ассоциировался с «нашими достижениями» и успехами социалистического строительства. Очерку надлежало быть оперативным, духоподъёмным, политически актуальным. В разные периоды нашей истории жанр удостаивался серьёзного теоретического осмысления.

Так, в 1934 году заметным событием стало всесоюзное совещание очеркистов, на котором подвергли критике противопоставление в очерке факта и вымысла, публицистики и беллетристики. Это прозвучало в выступлении Б. Агапова.

Опытнейший М. Кольцов, взгляды в широко растянувшийся фронт очеркистов от М. Пришвина до К. Радека, подчеркнул, что все они «обрабатывают художественными методами публицистические темы». По логике мэтра, существует грань между жизненным материалом и художествен-

ными приёмами, благодаря чему советский очерк из «созерцательного» уже стал «жанром литературы». Несмотря на ряд метких замечаний, Кольцову не удалось избежать противоречий в характеристике современного очерка. Бесспорно здравым тезисом заканчивалось его выступление: «Надо избегать накладывания густого грима на лица живых героев» (Литературный критик. 1934. Кн. 7–8).

Очерк всё-таки принадлежал к качественной газетно-журнальной продукции, о типологии жанра только начинали задумываться. Абсолютно своевременно прозвучал лозунг С. Трегуба, снимающий упрощённую антитезу очерковой и художественной прозы: «Очеркисты должны почувствовать себя литераторами!» Да простит меня читатель за пространную выписку из статьи Трегуба «Очерк в газете».

«Журналист имеет право ездить не только по специальным командировкам и писать не по одним лишь заданиям, предусмотренным редакционным планом. Думается, что он имеет право передвигаться с места на место без заранее определённой темы, а просто, чтобы наблюдать. В этом могут и должны помочь ему и редакции. Для газеты такие командировки не пройдут бесследно, если она предоставит такие командировки людям с живой мыслью и глазом, умеющим видеть» (Большевистская печать. 1938. № 11).

Прочитав это впервые, я сразу подумал о Ребрине. Не прошло и десяти лет, как в «Литературной газете» (1946, апрель) появилась передовая, так называемая установочная статья «О художественном очерке». В ней приветствовалось начинание издательства «Молодая гвардия» выпускать серию публицистических книг под названием «Наша родина». Идея замечательная. «Это будут книги, посвящённые всем крупным городам нашего Союза, всем областям и республикам», — обещала передовица, отмечая в то же время, что такая инициатива откроет для «областных писателей» большой простор. В качестве примера указывалось на очерк новосибирца С. Кожевникова «Город на Оби». Справедливости

ради замечу: в 1939 году поэт Л. Мартынов с одним омским журналистом задумал документальную книжку о Тобольске, но затея не была осуществлена. Зато годом позже наш земляк издал довольно объёмистый очерк «Крепость на Оми». Вскоре началась война, и название приобрело символический смысл. А инициатива с книжной серией, к сожалению, не получила развития.

На рубеже 50–60-х годов жанр очерка прочно входит в тематику академического литературоведения, всё чаще даёт пищу для диссертационных исследований. Выходят об очерке книги: Е. Журбиной, В. Канторовича, ряд интересных статей других авторов. Особо отмечу статью П. Юшина «О жанре очерковой литературы», увидевшую свет в 1958 году. Известный литературовед писал: «Как литературная форма очерк весьма подвижен и вместе с тем ёмок. Он свободно сжимается до нескольких сотен строк и развёртывается на целые очерковые книги. Способность очерка к резкому объёмному изменению делает его весьма удобным для журнала и для газеты».

И снова я подумал о Ребрине!

Что касается объёма, то вопрос отнюдь не сводится к количеству знаков, то есть слов и фраз. Ещё Ю. Тынянов полагал, что объём может быть элементом жанровой модели, когда величина конструкции становится решающим фактором, от которого зависит функция каждой детали и каждого стилистического приёма. В очерке «Головырино, Головырино» величина конструкции позволяла называть его повестью. Плюс исследовательский пафос автора.

Пётр Николаевич не раз повторял, что как очеркист он берёт факты из жизни, ничего не выдумывает, ну разве сгруппирует эти факты, изменит фамилии реальных людей. Обыкновенная писательская работа... И только однажды, в «Тюкалинских страницах», у него вырвется потаённое чувство: «Может быть, идти не от фактов, а от впечатления, писать о том, что вызывает самое сильное чувство в данный

момент. Это заманчиво, потому что имеется возможность выразить себя. Сердце подскажет, о чём писать».

Прекрасные слова. Конечно, сердце, а не дядя со стороны.

V

Есть слова, которые я не могу назвать терминами, не хочется обозначать их и как понятия. Это скорее специфические русские эмблемы историко-политического характера, например, «декабристы». Прочно вошло в культурный обиход другое слово, тоже из XIX века, – «шестидесятники». А в недалёком прошлом шестидесятничество было обусловлено возникновением антисталинских, антитоталитарных настроений в кругу художественной и научной интеллигенции. Всё честное, гуманное в СССР так или иначе отмечено творческой энергией шестидесятников, включая, разумеется, активистов правозащитного движения.

Ребрин являл собой фигуру типичного шестидесятника в сибирской «глубинке». Я понял это, читая не только «Головырино, Головырино», но и другую крупную вещь Петра Николаевича «Тюкалинские страницы», напечатанную в «Сибирских огнях» (1966). Автор использовал дневниковые записи первых послевоенных лет, старые заметки, делал переоценку ценностей, включал в текст новые размышления. Звучала и покаянная нота, ведь писатель чувствовал свою ответственность за слепую веру в директивы руководства. Одобрял перегибы, шёл на компромиссы. То была совестливая публицистика высочайшего класса.

«Я не замечал истинного положения дел в деревне, потому что был пропитан ложным пафосом, я требовал через газету жертвенности во имя высоких идей, требовал её от других, сам-то, собственно, ничем не жертвуя». Сюжетно повествование идёт с 1947 года. Редактор «Омской правды» отправляет корреспондента в деревню Сажино, предупреждая: там «очень трудный народ». Ребрин едет с желанием

понять, что происходит в крестьянской душе: «Что тут за народ в этой деревне? Говорят, в прошлом кулацкое село».

Пусть ещё чуть приглушённо, но трагическая тема заявлена. Я любовался умением автора живописать портреты сажинцев.

«Народ в доме своеобразный. Хозяин – кряж этакий, широк плечом, а лицо продолговатое, яичное, почти иконописное, тёмное, с синими глазами. Не лицо – а лик. И девки такие же – невестки, широкоплечи и широкоспинны, а с лица иконописно правильные.

О, темноликие, что вы такое?»

Именно в те послевоенные годы начинаются подступы к постижению русского характера. Пока чисто внешне, колористически точно. Из разговоров с хозяевами кое-что проясняется. За обедом заходит речь о хлебе. Сознательный городской журналист недоумевает, почему в поле пропадает хлеб, «тот хлеб, которым они живы». В ответ слышит горькое: «Мы ему не хозяева».

Склонность к реалистическому портретированию оказалась у Ребрина и в рассказе о руководителях-коммунистах на селе. Ему симпатичны честные, умные хозяйственники, эти люди не чета белым валенкам. В традициях советской литературы называть членов партии положительными героями.

«Особенно много самобытных людей среди "первых лиц". Председатель колхоза – почти всегда оригинальная личность, яркий характер (Неворотов хотя бы). Первый секретарь райкома партии – почти всегда яркий оригинальный человек», – утверждает писатель. И коль он любил изменять фамилии реальных персонажей, укажу лишь на директора Нижне-Иртышского совхоза легендарного К.А. Хорошуна. Чуть ли не каждый год собирает он по шестнадцати центнеров пшеницы с гектара. Автор любит человека, ибо тот, несомненно, из тех, кто «делает жизнь». То есть добывает хлеб наш насущный. Его нет нужды ставить на котурны. Бывший коллега Хорошуна говорит: «Кирилл Александрович – это жук, каких мало. Но жук положительный». В конце концов

Ребрину не важна партийная принадлежность, должность человека, регалии и прочие атрибуты номенклатурного типа. Главное – талант труженика, его ум, честь и совесть. Иное дело те, кто готов «по команде из назыма лепёшки делать». Как выражались тогда, с такими нам не по пути.

Пётр Николаевич принадлежал к плеяде писателей-деревенщиков, не будучи аграрием по специальности, но он умел понимать «язык земли», и потому лесные и лесостепные ландшафты Омского Прииртышья бесконечно трогают за сердце в его прозе. «Потому и набегают слёзы / На глаза, отвыкшие от слёз».

Мне радостно читать Ребрину и по другой причине. Я слышу в его произведениях «родной сибирский говорок», знакомый мне с детства от бабушки и мамы. Из тобольских северных далей пришли в наш дом все эти достаточно экзотические словечки и выражения вроде «ну, лешак», «пошто», «катух», «чумичка», «неслух», «расхабарить» и много других. А, скажем, донским казакам речевая стихия «Тихого Дона» милее иных прочих. «Записки охотника» вообще краеведческие очерки уроженца Орловской губернии, не упускающего случая объяснить читателям смысл некоторых «своеобычных» оборотов местного наречия.

«Тюкалинские страницы» прошли как-то почти незаметно для читающей публики, и вещь осталась как бы в тени недавнего скандала. Между тем этот сплав публицистики, лирики, словесной живописи в творческой биографии Ребрину не менее значителен, чем та повесть, попавшая под раздачу. Возможно, в тюкалинских записях больше журнализма, больше знакомых приёмов. Не беда. Просто нужно понимать, что сложность материала диктует выбор жанра.

VI

Не помню, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились. Теперь кажется, будто знал Петра Николаевича

всю жизнь. Так всегда бывает, если не ведёшь регулярно-го дневника. Скорее всего, личное знакомство состоялось в конце 60-х и носило поверхностный характер. Однако потом я стал видеть его чаще в Доме радио. Обычно мы шли навстречу друг другу в коридоре третьего этажа: я поворачивал в литдраму к Шпаковской, а Ребрин выходил из своего кабинета (точнее надо бы назвать его просто комнатой) в торцевой части здания, держа в руках листки очередной передачи, направляясь с ними в машбюро. Большой мясистый тяжеловес одним видом внушал уважение. На лице Ребриня я никогда не замечал улыбки. Он был как-то весь в себе и не то чтобы озабочен, нет. Его мысли, по-видимому, витали где-то далеко, в сфере новых замыслов или редакционных забот. Каждый раз, глядя на него, я говорил себе примерно так: вот человек, который пишет о Главном, о насущном, а мы? Наше общение проходило на уровне «здрасте-здрасте»...

Чуть позже мы стали встречаться чаще и уже не формально. Одна из памятных встреч состоялась в апреле 1972 года. Мне, начинающему преподавателю, кафедра поручила курировать на факультете литературно-творческий кружок. В традициях кружка – приглашать омских писателей. Первым, к кому я обратился, был Тимофей Белозёров, а в следующий раз к нам пришёл Ребрин. Главная тема определилась сразу – судьба сибирской деревни. Там, как сказал наш гость, процессы идут более глубокие. Он не мог не вспомнить, а мы не спросить о «Головырино». Истоки повести/очерка разумеется, давние, но первый импульс возник неожиданно, как бы даже случайно. Ребрин ехал на попутке в Красноярку, в кузове машины сидела девушка. На вопрос попутчика, куда едет, ответила, что к подружке в роддом. «А муж есть?» – «Мужа нет. Теперь почти все так рожают». Такой, значит, был толчок к рвущимся наружу накопленным впечатлениям. Кто-то из нас спросил, каково соотношение художественного и документального в повести. Пётр Николаевич резюмировал коротко: «Списал из жизни, ничего не выдумал».

Довольно подробно говорил о поездке в Муромцево и к местной достопримечательности – Даниловому озеру. Ландшафты красивые, конечно, а вот процессы идут тревожные. Деревня стареет. В окружении икон и почётных грамот доживают свой век одинокие старушки. Народ в Муромцевском районе, по его наблюдениям, легко возбудимый. Серьёзно настораживает печальная статистика: много самоубийств, за последнее время ушло из жизни пять или шесть человек, в том числе молодых.

Запомнились советы Ребрин, обращённые к тем из нас, кто уже пописывал прозу. Допустим, как разговорить «трудного человека», если чувствуешь к нему интерес. Рекомендовал развивать наблюдательность, стараться мыслить нестандартно и уходить от шаблонов. Он говорил о том, о чём сам думал непрестанно и часто мучительно.

– Нужен взгляд снизу, взгляд из хаты на деревню. Тогда становится яснее то, что спускается сверху.

– Чувство достоинства должно высоко подняться, к этому дело должно идти. А другая сторона – это чтобы человек был подлинным хозяином земли. Сейчас он хозяин только на словах.

Задавали ему вопросы о творческих планах, как это обычно бывает на встречах с писателями. Не ручаюсь за точность, но, кажется, он отвечал в том смысле, что задумал (или уже начал писать) роман о сибирской деревне. В центре повествования действительно положительные герои, труженики. С названием пока не решил, есть несколько вариантов: «Одна весна и много лет», «Степанида», «Степанида согринская и Родион», «Родион Малышев». Лет через десять роман «Родион и Степанида» вышел в Омском издательстве тридцатитысячным фантастическим тиражом, о чём сегодня можно только мечтать...

VII

Писал Ребрин и пьесы. Судьба их оказалась несчастливой. Я думаю, он остро это переживал. И когда в начале

восьмидесятых «Омская правда» устроила круглый стол по проблемам современного театра, Пётр Николаевич пришёл для участия в разговоре. В голосе писателя звучала обида: драматический театр увлёкся инсценировками, несмотря на то, что в Омске есть свои драматурги. К успеху «Солдатской вдовы» Николая Анкилова отнёсся ревностно, считая, вероятно, что его пьесы заслуживают сценического воплощения на театральных подмостках родного города. Понятно уязвлённое самолюбие автора, высказавшегося так: «Пьеса о сегодняшнем дне Сибири, о сибирской деревне нужна театру. Есть и драматургический материал. С ним, конечно, надо работать, драматургическая же лаборатория, созданная Министерством культуры РСФСР по инициативе А.Ю. Хайкина и именуемая "сибирской", предоставляет возможность участвовать в ней всем, кроме сибиряков. На трёх её заседаниях была прочитана лишь одна пьеса омского автора». Что тут скажешь, театр, как и Восток, – дело тонкое...

С писательской организацией у него тоже складывались непростые отношения: в сообщество профессионалов приняли позорно поздно. Довольно долго не удавалось переломить абсурдное положение: книги писателя издавались, очерки печатались в лучших литературно-художественных журналах, у Ребрина было имя, а членского билета СП СССР он не имел вплоть до 1979 года!

К тому моменту он уже пенсионер. Работает неутомимо и рукописи свои даёт читать ограниченному кругу лиц. Достоверно знаю, что доверял моему товарищу, талантливому журналисту Леону Флауму. Тот обычно добродушно посмеивался над внешним видом этих листов, где бледный машинописный текст был многократно перечёркнут, переправлен, а поверх шли новые, от руки, фразы, так что разобраться в рукописи часто не представлялось возможным. Леон ценил талант Ребрина, за глаза ласково называл его Петей. Раз два Пётр Николаевич что-то давал читать и мне, но напрасно: я ничем не мог быть ему полезен, испытывая чувство нелов-

кости от соприкосновения с незнакомым мне материалом. Я понимал, что Пётр Николаевич обкатывает среди земляков новые вещи, прислушиваясь к любым отзывам своих первых читателей.

Однажды он позвонил и сказал, что хотел бы дать мне для ознакомления деревенский дневник. На следующий день я получил увесистую папку и погрузился в чтение. Взору моему открылась мозаика заметок, портретов, авторских размышлений, жанровых зарисовок, иногда – афоризмов. Всё было подчинено главной теме. Рукопись представляла цельную законченную книгу, автор раскрывался в ней с максимальной полнотой. Потом мы встретились. Договорились о свидании в фойе Дома актёра: Пётр Николаевич жил неподалёку, гонять человека по жаре (стояло лето восемьдесят четвёртого) было бы грешно. Я сказал, что прочитал дневник с восхищением и что, пожалуй, это лучшая его книга, её надо бы обязательно издать. Из дневника узнаёшь и много нового о самом Петре Николаевиче. Он молча слушал. Мне хотелось не стесняться «высоких» слов (я так чувствовал!) и потому волновался. В рукописи привлекала, помимо откровенных публицистических страниц, россыпь замечательных художественных деталей. Я сказал ему об этом. Теперь трудно восстановить примеры из текста, но один достаточно красноречивый мне запомнился. Автор пишет о цветущем кусте репейника из «Хаджи-Мурата» и сравнивает его с нашим сельским хозяйством: сколько бы ни рубили, ни уродовали крестьянское дело, а оно продолжает жить. У Толстого описание искалеченного куста, «который у нас называется "татаринном"», заканчивается пронзительно.

«Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но всё-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он всё стоит и не сдаётся человеку, уничтожившему всех его братий кругом его».

Проза Ребрина хороша не только сама по себе, своей

ярко-индивидуальной авторской выразительностью. Ценны в ней и неожиданные ассоциации, как вот эта с репейником из повести Толстого.

Мне показалось, он слушает меня безучастно, почти отрёпленно. В раннем очерке «Свет от людей» писатель обмолвился, что не умеет «владеть лицом». Нет, владел великолепно. Хотя чувствовалось: мои восторги ему приятны.

Я вспомнил, как он подарил мне книжку «Нового мира» с очерком «В муромцевских даях». Там есть признание, что писателя давно привлекали северные места «как зона весьма напряжённой жизни».

– Да, но не только Муромцево, – откликнулся Пётр Николаевич. – Это ещё Тевриз, Большие Уки, весь наш сибирский Север. Недавно я снова побывал в тех местах, куда ссылали раскулаченных крестьян. И что удивило. Потомки тех, кого привезли сюда силой, оказалось, пустили корни в сибирской земле. Сыновья бывших кулаков стали председателями совхозов, кто-то секретарями в райкомах. Они в тех краях полные хозяева. Жизнь, конечно, трудная. Особенно тяжело заходить в женские избы. Стены покосились, хозяйка живёт одна, мужика нет. Дети то ли бросили, то ли на зоне... Всю жизнь работала дояркой либо скотницей. Состарилась. На руки её страшно смотреть, скрючило их от непосильной работы и холодов. Передовик производства. А на стенах в доме сплошь почётные грамоты да благодарности, больше ничего. Пенсия копеечная.

После нашего разговора о дневнике я видел Ребрина ещё несколько раз, говорили накоротке. Были и его телефонные звонки по разным поводам. Последние года полтора-два не встречались, и так получилось, что о кончине Петра Николаевича я узнал уже после похорон, под самый новый 88-й год. Он ушёл из жизни внезапно. Газета, где он работал много лет, дала стандартный некролог, написанный по трафарету официального жанра. Перечислялись книги покойного, правительственные награды. Но о «Головырино» – ни слова.

Оболганная при Хрущёве повесть оставалась обречённой на забвение. В «Литературной газете» с товарищем прощались писатели Б. Можаяев, Ю. Буртин, А. Стреляный, Ю. Черненко. Повесть была названа «лучшей, щемяще-печальной и высокопоэтической в своей беспримерной правдивости вещью», у автора отмечали «дар понимания и сочувствия». Чутьё на правду, понимание жизни, сочувствие человеку – так это же самые стержневые черты великой отечественной литературы!

Время безжалостно. Давно нет с нами тех, кто так ценил Ребрина и знал не понаслышке о проблемах российской, в частности – сибирской, деревни. Канула в Лету деревенская проза. Тревожно на душе: кто же сегодня напишет о нашей омской земле, о людях, живущих на ней? Что вообще происходит в сибирском Прииртышье? Не вижу таких литераторов.

Рассудок твердит нам о диалектике движения. Перемены неизбежны. Исчезли в одночасье создаваемые в течение десятилетий формы социалистического хозяйствования и люди, творцы таких форм. Ушла главная тема Ребрина. Однако в последних его очерках из книги «Это гудит время» (1985) заметно, как аграрная тематика уступает место поэтическим историко-философским, экологическим мотивам. Героями писателя всё чаще становятся люди других профессий – врачи, учителя, краеведы, собиратели сибирского фольклора. Пётр Николаевич менялся, не изменяя себе.

Близится юбилей замечательного писателя. Как, чем встретим этот рубеж? Мы в долгу перед памятью Петра Николаевича. У книг, которые он нам оставил, я верю, появятся новые поколения читателей, способных оценить по достоинству подвижническую литературную работу своего земляка. Перефразирую его слова из «Тюкалинских страниц»: сердце подскажет, что читать.

ЛЕОНИД ШЕВЧУК



Не могу представить литературную жизнь Омска без Леонида Васильевича Шевчука. Он был ярчайшей фигурой в среде творческой интеллигенции в том её слое, который имел свои особые приметы и свой отличительный знак качества. Мне довелось быть с ним в дружеских отношениях в последние годы его жизни. Теперь хочется придать отрывочным воспоминаниям некое подобие стройности, насколько это вообще возможно...

Леонид Шевчук родился 19 августа 1923 года в Омске в семье рабочего-кузнеца. Детство и юность прошли на окраинах города, известных как Северные улицы (поэт Вильям Озолин насчитал их аж тридцать). Учился Шевчук сначала в средней школе № 21, затем – с шестого по десятый класс – в школе № 66, что на Красном Пути. В мае 1942-го рядовой-миномётчик Шевчук – на Волховском фронте в районе местечка Кириши. После тяжёлой болезни и лечения в Рыбинском госпитале был демобилизован, отправлен на родину в Омск. Здесь юноша работает учеником фрезеровщика, вскоре и фрезеровщиком третьего разряда на эва-

куированном ленинградском заводе «Прогресс». С сентября 1943-го по июнь 1945-го он студент Омской юридической школы – существовало такое учебное заведение, где преподавали известные столичные адвокаты, между прочим, и тот самый Брауде, защитник подсудимых на московских политических процессах 1936–1938 годов. Двухгодичной школы, надо полагать, было явно недостаточно, и Шевчук поступает сначала на вечернее, чуть позже на дневное отделение педагогического института. Одновременно подрабатывает в Омском радиокомитете. Участь на филфаке и занимаясь журналистикой, сводит знакомства с местными литераторами. По окончании института два года преподаёт в средней школе № 18. Далее в карьере молодого человека происходят существенные перемены: он прочно вступает на журналистскую стезю, становится литсотрудником газеты «Молодой большевик» (1950–1952) и «Советский Иртыш» (1952–1956). А следующая страница в биографии – редакторская работа в Омском книжном издательстве вплоть до 1960 года.

В этом месте перечень скупых анкетных данных следует прервать необходимым биографическим комментарием. Дело в том, что с юных лет Леонид мечтал быть профессиональным писателем. Первые стихотворные опыты (тогда ещё школьника) появились в 1940 году в омской пионерской газете с трогательным названием «Ленинские внучата». Потом, уже после войны, пошли публикации в других газетах и альманахах, тоже омских. Но главным событием в жизни стала повесть «Торжественная весна», принесящая автору много горечи и незаслуженных обид.

История повести драматична. Отпечатанный пятнадцатитысячный тираж книги по решению партийного начальства пустили под нож, чудом сохранилось лишь несколько экземпляров. Один из них в самодельном твёрдом переплёте подарен мне автором с дружеской надписью. Забегая вперёд, могу сказать, что ничего идейно порочного в повести не содержится, напротив: автор, говоря по-старомодному, полон

самых благонамеренных в советском смысле чувств. Поэтому интрига вокруг «Торжественной весны» остаётся непонятной, по крайней мере, для меня. Я не читал документов с решением бюро обкома по этому вопросу. Впрочем, зная другие аналогичные постановления касательно литературы, нетрудно предположить их дубовый характер.

Повесть написана в короткий «оттепельный» период. Название её символично, хотя и звучит несколько высокопарно. Перечитывая повесть, я поймал себя на мысли, что лучше бы назвать её «Три товарища», если бы не Ремарк, поскольку главными героями автор сделал троицу друзей, причём один из них, молодой учитель Евгений Ямшиков, образ явно автобиографический, тоже фронтовик, как и Роберт Локамп в романе Ремарка. Есть в этих историях и общий «персонаж» — автомобиль. У немцев это внешне уродливый, но с мощным гоночным мотором «Карл», а омич Игорь Мержанов катает друзей на собственной «победе» — по тем временам невероятная роскошь в провинциальном городе (сюжет разворачивается в Омске). Молодые люди и выпивают со вкусом: наши употребляют водку и красное, немцы предпочитают ром, коньяк. Ну и любовная тема звучит убедительно. Во всём остальном ничего общего.

Понимаю, что мои ассоциации могут показаться искусственными, однако не всегда они поддаются рациональному объяснению. В какой-то мере их оправдание происходит «по праву памяти». Приходится напомнить. Первые романы Ремарка советский читатель успел подзабыть, а новое поколение едва ли было с ними знакомо, разве что понаслышке. Поэтому «Три товарища», появившиеся на русском в начале 1959 года, можно назвать вторым рождением Ремарка в СССР. Нашей интеллигенции импонировали герои романа, далёкие от политики, свободные, порядочные, лишённые классовых амбиций. Ремарк рассказал о «потерянном поколении», но так, что симпатии к нему возникали естественно, на общечеловеческой почве. Частная жизнь людей вызывала

искренний интерес на фоне отечественных политизированных сюжетов. Профессионалов же привлекли литературные технологии западных романистов. Одним словом, «Три товарища» имели у нас большой успех. Шевчуку, я думаю, нравился этот роман.

В его повести подкупала интонация дебютанта, ещё не искушённого в беллетристических приёмах. Автор увидел героев своего времени, чьи судьбы опалила война, увидел на переломе сталинской и послесталинской эпох, в момент блеснувших надежд на обновление общества. Не случайно повествование завершается «необыкновенной весной» 1954 года: «В Сибирь осваивать новые земли поехали, покатали задорные, огневые ребята: "Держись, целина!"» Здесь не было ни капли фальши.

Вторая половина пятидесятых для Шевчука, как и для многих, — пора обнадеживающая. Работая в издательстве, он принимает деятельное участие в творческих вечерах городского литобъединения, печатается в местных газетах. Всё чаще его фамилия появляется под сатирическими стихами и баснями. Острое перо не всем по вкусу, иные увидели в этих публикациях нечто опасное. Так, М. Филимонов обвинил автора в искажении советской действительности, в стремлении возвести «поклёп на наши кадры». Председатель омского литобъединения А. Кердода упрекал Шевчука в самомнении. Чепуха, конечно, хотя писателя-сатирика любить трудно. Ещё труднее писателю жить в провинциальном городе, где все друг друга знают, так или иначе общаются, а чуть что — бегут по начальству с жалобами «оградить от..» посягательств такого-растакого.

Запрет «Торжественной весны» был тяжёлой травмой для Шевчука и наложил определённый отпечаток на последующие литературные занятия. Кое-кому из омичей он казался ожесточившимся неудачником, выпавшим из обоймы местной писательской организации. Обида на власть предержащих засела у него глубоко. В феврале 1960 года Шевчук

уходит из Омского книжного издательства и устраивается преподавателем в СИБАДИ. Не исключено, что ему предложили уйти «по собственному желанию».

II

Помню, о многом впервые слышал от родителей. Например, фамилию Г.К. Жукова. Отец взял меня с собой на майскую демонстрацию 1955 года, сказав, что в городе ожидается приезд маршала. Слух оказался ложным, но в толпе омичей чувствовалось приподнятое настроение, люди ждали прославленного полководца. Среди горожан было ещё много фронтовиков.

Другой «кадр»: родители обескуражены сообщением о самоубийстве Фадеева. Кто такой Фадеев? Писатель? Да, верно, написал «Молодую гвардию». Я схватился за роман. Видел и фильм Герасимова. Причины суицида оставались тайной.

Два года спустя: мама и папа вслух читают в «Правде» фельетон Заславского о Пастернаке. Где-то среди наших книг есть его тощий сборник стихов «На ранних поездах». Так автор, оказывается, сорняк. Ну, поделом ему. Вот и про «Торжественную весну» у нас в доме тоже было много разговоров. Мама помнила Шевчука ещё со времён юридической школы, где училась до поступления в педагогический институт. Потом несколько лет она преподавала в 12-й средней школе. Её коллега Мария Васильевна Поташова, приходя к нам, непременно упоминала Шевчука, с которым часто встречалась в праздничных учительских застольях. Говорила обычно: «Были Полторакин и Шевчук». С последним всегда связывалось что-нибудь смешное, какой-либо курьёз или эпиграмма. Острым на язык слыл и Владимир Васильевич Полторакин, прозаик, питомец Худпрома, отличный рисовальщик. Кажется, они дружили. Теперь думаю: как важно вовремя услышать.

Я познакомился с Леонидом Васильевичем много позже,

а сблизился с ним на излёте восьмидесятых. Очередная оттепель, названная перестройкой, дала возможность нашим литераторам размежеваться. По примеру москвичей в Омске возникла альтернативная писательская группа «Апрель», в неё вошли Г. Бородянский, А. Лизунов, С. Лeksuтов, Е. Мурашова, аз грешный, кто-то ещё. Мы стали собираться на четвёртом этаже Дома печати в одной из редакционных комнат «Молодого сибиряка». Никаких документов, подтверждающих наше существование, не сохранилось, хотя, помнится, велись какие-то протоколы собраний, достаточно бурных. Был задуман свой альманах под названием «Любинский проспект», я взялся составить первый номер. Дело дошло до вёрстки, однако по финансовым причинам альманах так и не увидел свет. Мы существовали в полном смысле неофициально. И раза два к нам приходил Шевчук. Вскоре наш «Апрель» растворился в созданном филиале Союза российских писателей. Все, кого я вспомнил (кроме Шевчука), стали членами нового писательского объединения. Леонид Васильевич был свой, несмотря на большую разницу в возрасте. Как будто он тоже начинал. Мы радовались появлению нового для нас понятия – плюрализм. Неужели свобода? Таким было начало девяностых. Шевчук являл собой пример литератора, абсолютно свободного от условностей и представлений, собственных членам ССП. На многое в нашей жизни сатирик смотрел иначе. Начальствующие персоны в погонах и без погон считали писателя диссидентом, о чём Леонид Васильевич в характерной для него манере поведал в стихотворении «Штрихи к собственному портрету».

Я – с неистребимой верой –
Мерил всё марксистской мерой,
По тропе и по шоссе
К светлой цели шёл, как все...
Только я в иной момент
Представал как диссидент.

Мне он тоже рассказывал, как его обламывали в омском управлении КГБ, однажды даже в присутствии областного прокурора. Причиной тому были, конечно, язвительные литературные забавы, нескрываемое пугающее вольномыслие, с которым тогда надлежало решительно бороться. Знакомство с диссидентами-земляками (М. Молоствов, В. Некипелов) и в особенности дружба с Б.Ф. Леоновым, дважды отбывавшим срок заключения по 58-й статье, явно не красили портрет моего старшего товарища. А ещё он дружил с любимцем омской публики актёром драматического театра Вацлавом Дворжецким, который долгое время жил в городе на правах политического ссыльного. Это раздражало искусствоведов в штатском, они прямо угрожали Шевчуку арестом по 70-й статье УК.

К счастью, репрессии его не коснулись. Охранной грамотой, возможно, послужила безупречная биография Леонида Васильевича. Всё-таки из рабочей семьи, участник войны, учитель и журналист, типичный советский интеллигент в первом поколении – как сажать? За образ мыслей? Работники «органов» всегда подчёркивали, что за мысли в СССР не преследуют. Для санкций требовались поступки и «правонарушения». Шевчук же был законопослушным гражданином. Таких, как он, обычно «профилактировали». Короче говоря, реноме писателя выглядело весьма определённо. Быть может, кто-то будет удивлён, если скажу, что в кадровом ассортименте любого города наряду с передовиками производства, видными деятелями культуры и знаменитыми спортсменами была обязательна фигура беспокойного диссидента, подлежащего регулярной профилактике. Этот человек мог служить оправданием незаметной деятельности целого подразделения (отдела) из Пятого управления КГБ. Очень, очень нужная фигура.

III

Думая о Шевчуке, вспоминаю рассказ Горького «Озорник». В отличие от героя рассказа, Леонид Васильевич озорничал только пером. Как сатирик он заметно эволюционировал в расширении жанрового репертуара. Если в пятидесятых бичевал с газетного листа подхалимов или «лису у руководства», то в зрелые годы мог дать волю гражданским мотивам с указанием конкретных адресатов. Правда, его не печатали. Борясь с удушьем, омский озорник искал отклика в кругу своих знакомых. Без всякой надежды на широкую аудиторию отправлял стихи по почте то на радио, то в местные газеты. Ему было уже тесно в аллегорических рамках басенного жанра. С конца восьмидесятых ситуация начала меняться, у стихотворной политсатиры вновь (после первых лет Октября) появились перспективы. Я понимал, как трудно живётся талантливому писателю, и однажды выразил готовность посодействовать публикации его новых стихотворений в вечерней газете. Леонид Васильевич отнёсся к моему предложению скептически, но всё-таки дал несколько текстов. Вскоре отличная подборка была напечатана в красноречивой рубрике «Из поэтической тетради сатирика». Сильнее всего звучали «Стихи о выплаченном долге» – про горе матери, оплакивающей погибшего в Афганистане сына. В лучших традициях отечественной антивоенной лирики автор клеймил тех, кто ради мифического «интернационального долга» отправлял наших ребят в смертельные «горячие точки» чужой страны.

Мы стали чаще видеться то в литературном музее, то на телевидении, просто где-нибудь на улице. Обычно он читал что-нибудь новенькое. Голос у него был грудной, низкий, почти бас. Декламировал умело, воодушевлялся. В эти моменты во всём облике чувствовалось горделивое озорство человека, задорно возбуждавшего слушателей: что, здорово? а вот вам!

Некоторые мои земляки находили сатиры Шевчука злы-

ми. Не стану спорить – он умел обидеть. И ему не прощали. Например, покойный Володя Макаров, задетый за живое. Как-то, открыв газету, я прочёл его отповедь некоему пародисту. Сатирик Шевчук отвечал адекватно. Обмен любезностями выглядел грубовато. Не знаю, чем уж один поэт «достал» другого. Макаров отличался добродушным нравом, и если так реагировал, значит, обиделся смертельно. Будущим краеведам сообщаю: для читателей некто остался загадкой – ведь ответ Шевчука в газете не публиковался. Дело прошлое: как-то Леонид Васильевич куснул и меня, несмотря на наши дружеские отношения. Получив ехидный машинописный текст по почте, я, конечно, не пришёл в восторг, впрочем, и надуваться не стал. Мы продолжали встречаться и перезваниваться, благо литературных поводов имелось предостаточно. Сидя с ним рядом на какой-нибудь презентации, я любил слушать, как он острил по адресу очередного выступавшего. Если нас разделяло несколько кресел, я получал стихотворные экспромты. Один такой, «Сиволапость», сохранился. Кажется, речь держала известная начальствующая дама и (судя по автографу) вспоминала Радищева. Вдруг получаю записку Шевчука.

Встречались с современною вы чернию?
Достаточно для грустных мыслей пищи вам?
С натугой школу одолев вечернюю,
В культуре состязается с Радищевым.

Он не жаловал сиволапых, они платили ему тем, что не замечали. Давняя взаимная нелюбовь.

Я искренне радовался, что времена изменились и поэт получил возможность печататься, пусть нечасто. Он начал выходить из тени! В 1991 году им написано обращение «Обманутым поколениям». О гражданском темпераменте автора судить читателям.

Вы к коммунизму шли неудержимо –
Творцы тоталитарного режима.
Ведь это только вам благодаря
В России умножались лагеря.
Не с первых ли шагов,
Не с Октября ли
Вы все злодеяния шумно одобряли?
(Себя по жизни скорбно волоча,
Покорствуя безумству Ильича.)

IV

Стоп, машина. Я так увлёкся, забежав вперёд, что пропустил несколько лет в жизнеописании моего героя. Стройной линейной композиции явно не получается, всё же я пишу не литературный портрет, не «очерк творчества» и потому свободен. Значит, могу свободно повернуть назад, понимая необходимость такой ретроспективы. Авось биографические вехи пригодятся будущим историкам литературного Омска...

Итак, преподавательская карьера Шевчука завершилась в СИБАДИ. Некоторое время он ещё работает в этом учебном заведении в должности литсотрудника многотиражной газетки «Омский автодорожник». Одновременно внештатно сотрудничает с Омским радио. Потом снова многотиражка на заводе им. К. Маркса, где исполняет обязанности ответственного секретаря редакции. Мечется человек. Затем новое место работы – СКБ промавтоматики. Тут коренной гуманитарий числился «ведущим инженером», но то была скучноватая редакторская лямка в отделе научно-технической документации. Шевчук тянул её семь лет (1968–1975).

Рыба ищет, где глубже, а писатель – где свободнее. На провинциальной ниве выбор невелик. В 1975 году он вновь – уже в который раз! – находит прибежище на радио в качестве штатного корреспондента. Выдержал три года. И с этого момента он свободный художник. Через пять лет пенсионер. Советскому че-

ловеку не надо объяснять, каково остаться без зарплаты. Однако Леонид Васильевич более не искал государственных служб. Похоже, положение частного лица его устраивало. Удручало другое. Будучи профессиональным литератором, он не состоял в рядах Союза писателей и для коммунистов представлял безусловную нежелательную персону. Ему всюду включали красный свет. Повесть «В те дни» признали творческим срывом.

С местной писательской организацией отношения не складывались. Я даже не знаю, пытался ли Шевчук стать членом ССП. Вообще ситуация с литературным творчеством «в те дни» достойна специального изучения. С одной стороны – переиздания классиков массовыми тиражами, госпремии живущим, активное книгопечатание научной и популярной продукции. С другой – всего боялись. С.В. Житомирская пишет, что всегда удивлялась, «какое значение власть придавала тогда силе печатного слова»¹, нё жалея расходов и усилий, чтобы оградить от него общество. Добавлю: или наоборот – желая внедрить в сознание людей свои идеологемы. Слово печатное и слово устное считались в равной мере действенными. Шевчук не упускал случая высказаться публично, когда представлялась возможность: на читательской ли конференции в библиотеке, в писательском кругу либо на какой-нибудь официальной встрече с именитым заезжим гостем. Помню, как страстно он выступал на открытии часовни в память жертв большевистского террора в октябре 1994 года. Для него было свойственно заострять тему, прямо говорить про то, о чём другие политкорректно молчали.

Сложная диалектика слова и дела, их логика обратной связи изучены недостаточно. Герцен, как известно, полагал, что слово – уже поступок, то есть акт реального воздействия на жизнь социума. Так повелось у нас со времён Радищева и стало аксиомой для революционеров. В двадцатом веке об этом размышлял Твардовский в стихотворении «Слово о

¹ Житомирская С.В. Просто Жизнь. М.: РОССПЭН, 2008. С. 395.

словах», ссылаясь, правда, не на Герцена, а на Ленина. Поэт был уверен, что слово

...не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял –
Нет, слово – это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

У Шевчука прямая речь была естественным выражением его душевного настроения, насущной потребностью, которую Лев Толстой определил известной максимой – «не могу молчать!». Возможно, кому-то он казался безумцем, чудаком, наивным романтиком, а я бы назвал его смельчаком. Нужно только не забывать, какие были времена...

V

В апреле 1978 года в Омск прилетел академик А.Д. Сахаров для защиты этапированного на судебный процесс активиста крымско-татарского движения Мустафы Джемилёва. Опальный академик в Омске? – не может быть. Почему-то не верилось, что в нашей тихой гавани появился возмутитель общественного спокойствия. Город-то закрытый.

Не знаю, сколько набралось любопытствующих, но к зданию областного суда на Тарской из моих знакомых пришли двое – художник Владимир Перминов и Леонид Васильевич. Оба мне рассказывали потом, что им удалось увидеть на этом спектакле. Сахарова не пустили в зал суда, и в знак протеста он вклеил пощёчину кому-то из гэбэшных офицеров сопровождения. Через несколько лет Шевчук поделился своими впечатлениями в газете «Вечерний Омск». «Суд за закрытыми дверями. Всем распоряжаются прилетевшие из Москвы гэбисты. А академик Сахаров в коридоре. Я почти целый день провёл около него – на некотором (приличествующем) расстоянии. Рассмотрел как следует. Видел его. Но видел и людей, готовых его распать».

«Я вышел на улицу раньше Сахаровых. Стоял и ждал, когда выйдут они. Хотелось ещё раз посмотреть на великого человека, бросившего вызов Государству – с его мощным чиновничьим аппаратом, с его тюрьмами, лагерями, штрафными изоляторами, послушными судьями, оплачиваемыми и добровольными стукачами. На человека, который видит дальше других, предчувствует социальные катаклизмы».

«...Когда приговор Джемилёву был прочитан, когда всё было кончено. Они вышли – группа человек в двенадцать. Андрей Дмитриевич – в плохо сидящей на нём шляпе, Елена Георгиевна – в кожаной куртке, чёрных брюках, с неизменной папиросой во рту. Вышли и направились по грязной ещё апрельской дороге к находящейся поблизости гостинице «Ермак» – перед Крестовоздвиженской церковью. Шли молча. Подавленные. О чём думал этот великий человек? Рискованно гадать...»

Дальше у автора возникает ассоциация с Христом. Легко понять восторженную интонацию современника, впервые воочию увидевшего храбреца, бодающегося с Левиафаном.

Едва повеяло дыханием перемен, Шевчук опубликовал стихотворение, посвящённое Сахарову. Оно датировано 85-м годом. Академик с женой ещё отбывали ссылку в Горьком. Тем большего уважения вызывает неколебимая вера поэта в неизбежный конец административного произвола.

Мы ждали этого героя.
В молитвах плавилась уста...

Патетическая аналогия с Христом сохраняется:

И вот пришествие (второе!)
Невероятного Христа.

Панегирик Сахарову, выдержанный в лучших традициях русской политической лирики, заканчивался страстно:

От нас, от Бога ль ждущий чуда,
Изъятый из родимых мест,
По-римски не распят покуда,
Он всё ещё несёт свой крест.
Но будет день – я верю свято:
Чудесной силою ведом,
Он, презираемый когда-то,
В Москву вернётся со щитом.

Хорошо известно, что было потом. В щит Сахарова полетели камни и комья грязи. Сталинский гипноз проходил с трудом. Как пророчески сказал Блок, «долго будет родина больна».

VI

Общение с ним всегда повышало градус настроения. Остроты, хохмы, рифмованные шутки он читал охотно и выразительно. Похохатывал, смакуя удачный приём, подчёркивая особенности ритмического рисунка. Отечественную поэзию знал отменно, в своих эпиграммах часто был неосторожно ядовит. Невозможность печататься в течение ряда лет остро переживал. Тем, кто ценил в нём талант писателя, любил дарить свои произведения в машинописном виде. Я получил от него, кроме «Торжественной весны», несколько таких «самиздатских» сочинений. Ярчайшим проявлением озорства и типичного для русских интеллигентов ёрничества был «Лука Мудищев». Полное название на первой странице машинописи выглядит так:

ЛУКА МУДИЩЕВ

(Вечный зов)

поэма

политическая

патриотическая

патетическая
с
элементами эротики
(в двух частях).

Я был удивлён, увидев на последней странице даты: 1945–1949 гг. В советской литературе эротика, мягко говоря, не поощрялась. Шутка о том, что в СССР секса не было, появилась много позже. А неутомонный Леонид Васильевич протягивал руку неведомому автору XIX века! Сюжету о главном герое предпослано необходимое предисловие, озаглавленное оптимистично – «Поэма выходит из подполья». Автор с улыбкой вспоминает годы, когда рукопись рождалась под впечатлением классического «Луки», приписываемого Ивану Баркову, с одной стороны, и «Василия Тёркина» Александра Твардовского – с другой. «Захотелось написать о том, как некий деревенский парень, российский (а тогда – советский) солдат, воевал, но не погиб, не пал (за Родину, за Сталина): живой-здоровый вернулся в село и начал погружать себя в земные радости-наслаждения...»

Предисловие это написано в год 50-летия Победы, а саму поэму автор посвящал русскому характеру.

Надеюсь, что рано или поздно поэма придёт к читателю и позабавит его, ведь основным её смыслообразующим элементом является... фаллос героя-солдата. Наряду с фаллическим началом в поэме присутствует и лубочно-актуальное. Автор потешался по полной программе. Вот Лука на мандатной комиссии.

Говорят ему: «Присядь-ка...»
Заходя издалека,
Вот уж спрашивают: «Тятька
Не служил у Колчака?»

«А вот ... не хотите ль?! –
Чуть не выкрикнул Лука. –
Вы бы знали: мой родитель
Был у Щорса комполка.

Он летал, овеян славой,
Мчал в атаку, как на бал.
И своею кистью (правой)
Сколько контры порубал!»

Нет сомнений, Лука – наш человек. Готов вступить в ВЛКСМ, «в самую ВКП(б)». Был, говорят, даже кандидатом на водружение стяга над поверженным Рейхстагом. И водрузил бы, если б не слухи врагов, будто «Мудищев, мол, еврей». Везде интриги...

Без единой царапины возвращается солдат в родной колхоз и тут, среди девок, обретает популярность ходока. Пропустим детали. Герой бережёт своё мужское достоинство, замечает резонно:

Что на свете есть дороже?
Разве только партбилет.

Ироничный и литературно образованный автор искусно вплетает в ткань сюжета фольклорные элементы. Девушки задушевно поют песню на мотив «Калины красной», затем переходят на не менее ядрёные частушки. Ещё шибче горланят парни, приехавшие на уборочную из города. Скромно потупим взор и скажем без лукавства: в быту это называется мат-перемат. Но звучит так же естественно, как текст «заветных» сказок Афанасьева.

Необходимо помнить: фаллос, живописный или пластический, – один из древнейших символов человечества. То же и в литературе. Пренебрегая запретами, Шевчук – в ту пору ещё совсем молодой человек – бросал вызов официальным установкам. Не случайно Лука храбро заявляет в финале:

Всё на свете мы ...
Кроме шила и гвоздя.

Общенная лексика, употреблённая к месту и потому живущая в общепринятом литературном контексте, приобретает силу свежего художественного приёма, которым, однако, не следует злоупотреблять. Юмор тоже, как правило, смягчает грубоватость русского народного ненорматива. Это хорошо чувствуется в наших частушках. Леонид Васильевич был замечательным знатоком жанра. Однажды мы обменялись смешными текстами: я что-то послал ему, а он по почте отправил мне несколько перлов из книжки «Озорные частушки с "картинками"». Оказалось, что Л.В. и сам записывал, например, частушки Северных улиц в Омске, где прошло его детство.

Мы не сеем и не пашем,
Мы валяем дурака.
С колокольни хреном машем,
Разгоняем облака.

Юбку новую порвали,
Я её заштопаю.
Но теперь, обороняясь,
Лягу кверху ...

С грустью думаю, что наш земляк опоздал родиться, и талант сатирического писателя оказался обществом не востребованным. Как хороши были бы его тексты на страницах «Сатирикона», «Чудака», «Смехача» или журналов постарше, вроде «Осы», «Занозы», «Жупела». В советское время на всё про всё был только «Крокодил». Если архив «Крокодила» сохранился, то там наверняка можно отыскать произведения омского писателя-сатирика Леонида Шевчука. Кто решится на этот поиск?

VII

Конечно, озорник. Открываю подаренную мне в 92-м году самодельную, в переплёте, книжицу поэм, отпечатанных, как водится, на пишмашинке. Уже титульный лист вызывает улыбку. Жирным чёрным шрифтом, крупно: Леонид Шевчук. Искушение. Париж. Издательство «Неопалимая купина». Шутка одинокого литератора, собравшего под одной обложкой три поэмы. Из них наиболее удачна, пожалуй, «Песня о ежовых рукавицах». В ней высмеивается позорная эпидемия доносительства в конце 30-х годов.

Жили-были дед да баба.
Ели кашу на воде.
Дед, хоть был подкован слабо,
Знал, что есть НКВД.

Как-то раз забыла хлеба
Бабка дать ему к борщу.
Он, воззрясь, сказал свирепо:
«Повторится – сообщу...»

Вдруг такое ощущение
Создалось у старика:
«Не простое упущенье –
Это вылазка врага!»

«Ах, он так!»
Озlobясь сразу,
Бабка ищет карандаш
И, сопя, рисует фразу:
Дескать, мой старик «не наш».

Пресловутый дед сначала
Не поверил шантажу.

Бабка трепетно кричала:
«Я первое посажу!»

Читаешь – и смешно, ну прямо обхохочешься. А потом оторопь берёт, потому что картина знакомая. Мне довелось видеть в закрытых архивах заявления в НКВД, где жёны разоблачают мужей как врагов народа. Поэтому бабка у Шевчука реальная, не выдуманная. И то, что дед не наш, тоже правда. Вот откуда всё пошло и живо по сей день: наши – не наши, свои – чужие, белые – красные. Сознательное разделение народа на враждебные группировки. Доколе же?

Фельетонная стилистика поэмы усиливает трагическое звучание темы. Дед получает «десятку», отбывает срок, старуха не дотягивает до реабилитации – «затерялся бабкин след».

Под занавес авторская ирония сменяется тревожным раздумьем.

Было скорбно. Было плохо.
Мы оправились не вдруг.
Но трагичная эпоха –
Это дело наших рук.

И хранит о прошлом память
Даже нынешний старик
И далё-е-е-ко
за зубами
Держит грешный свой язык.

И всё же заключительный аккорд поэмы звучит в типично насмешливой манере автора.

Потому как он – опасность,
Преиспытаннейший враг.

Но у нас сегодня гласность.
Так что я не знаю как...

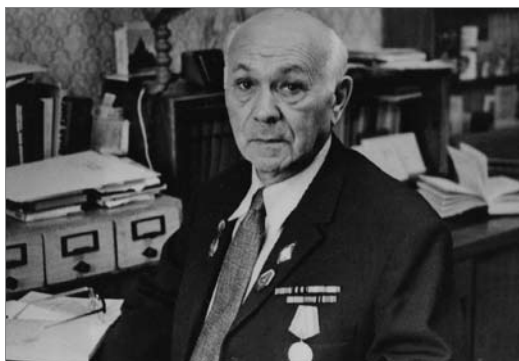
Концовка явно лукавая, не очень-то верил поэт в торжество гласности, хотя именно в 90-е годы (сегодня их называют не иначе, как лихие, глухие, смутные и пр.) ему удалось преодолеть заговор молчания вокруг себя и прорваться на страницы омских газет.

VIII

В последние годы, как ни обидно, наши встречи становились всё реже, а с кончиной его жены Зинаиды Степановны общение свелось в основном к телефонным разговорам. Леонид Васильевич тяжело переносил утрату, и мне казалось, что он сознательно избегает любых контактов, будто стыдится показать на людях свою боль. Однажды (по телефону) у него вырвался скорбный вздох: очень тяжело. Обычно он звонил первым, чтобы прочитать что-нибудь новое из написанного. Долго извинялся, что отнимает время, и непременно спрашивал, можно ли прочесть. «Ну зачем вы такое говорите, — неизменно отвечал я, — конечно, читайте, о чём речь». Иногда, в моё отсутствие, трубку брала жена, и тогда слушала она. Всегда это было смешно, остроумно, обязательно злободневно. Звучали и грустные ноты. Леонид Васильевич боролся с одиночеством из последних сил.

В новом веке он прожил почти год и ушёл из жизни как-то незаметно, внезапно. Не помню, откликнулась ли наша пресса на кончину коренного омича, талантливого литератора с трудной судьбой (я не видел никаких некрологов или «бегущих строк» на городских телевизионных каналах). Так пусть же эти заметки лягут запоздалым цветком к надгробному камню писателя-земляка.

ЕФИМ БЕЛЕНЬКИЙ



Как-то не верится, что Ефиму Исааковичу Беленькому отмечається столетие. Я впервые увидел этого человека, когда ему не было и пятидесяти. На нашем филологическом небосклоне он абсолютно заслуженно считался звездой первой величины. Несколько поколений выпускников филфака, начиная примерно года с сорок шестого, вправе называть себя учениками Беленького, уж не говорю о коллегах по кафедре, где Е.И. ряд лет успешно заведовал. Его авторитет в литературных вопросах никто и никогда не подвергал сомнению. Студенты, молодые преподаватели, омские литераторы и журналисты – все с пиететом произносили это имя. Сегодня хочется напомнить, что в первые послевоенные годы Е.И. работал по совместительству литконсультантом в «Омской правде», выступал на страницах газеты как критик. Даже в тяжёлый для него сорок девятый год он не порывал связи с прессой, радовался «свежим голосам» в поэзии омичей, делал обзоры поступавших в редакцию рукописей (подписывая материалы прозрачным псевдонимом «Е. Исаков»). Однако первые залпы по нему раздались годом раньше, летом сорок восьмого. На партсобрании газеты, где Беленький вёл литературную страницу, с грозными обвинениями выступил сотрудник редакции Джимбинов. Оказывается, Беленький захваливает поэта-

фронтовика Марка Максимова, поёт тому дифирамбы, причём «неоднократно», и, что ещё хуже, «не работает с авторами, а всем под одну гребёнку пишет, что стихи плохи, незачем братья за перо... Десятки способных людей, которые присылают рукописи, отвергаются. Беленький показал себя тенденциозным критиком. Газета его поддерживает».

В этом пассаже всё, кроме последней фразы, сознательная клевета и ахинея. На самом деле Е.И. всегда поддерживал талантливых литераторов, но графоманов действительно не жаловал, говоря им горькую правду. Я глубоко сожалею, что в наши дни у омских писателей нет такого авторитета в литературных вопросах, каким был в своё время Е.И.

Всю жизнь занимался творческим наследием М. Горького. Я помню спецкурс у Е.И., в котором классик выглядел не бронзовым монументом, но живым, очень талантливым и совсем не скучным автором. Сейчас на моём стеллаже в первом ряду стоят все подаренные мне книжки Беленького, две из них называются «тетрадами». Ах, какие же это добротные, любовно написанные исследования! Их можно назвать и своеобразными путеводителями по отечественной литературе, в частности, по сибирской.

Литературовед, критик, поклонник «изящной словесности» соединялись в нём органически, и сам он воспринимался нами именно как учитель, как старший товарищ. Вот характерная дарственная надпись Вильяма Озолина на первом сборнике стихов «Окно на Север»: «Моему самому первому наставнику с благодарностью и глубоким уважением!» Обратите внимание: самый первый. И только потом Илья Сельвинский. Хотя никаких лекций Беленького Виля, конечно, не посещал. Стало быть, вопрос об ученичестве не решается формально, равно как и вопрос об учительской миссии. Учитель тот, на кого невольно равняешься, кому хочется подражать, чей совет принимаешь всей душой и, если тебя слегка пощипали, — не обижаешься. Беленький, между прочим, отличался необыкновенной доброжелательностью. Так, на государственном экза-

мене, когда члены комиссии уже готовы были вынести суровый вердикт, Е.И. как председатель ГЭК обычно прибавлял балл, говоря: «Ну, давайте в пользу студента (студентки)». Довольно часто такая польза выражалась оценкой «удовлетворительно».

В делах писательских Е.И. неизменно являл пример принципиальности. Эрудиция, опыт исследователя, вкус не позволяли ему играть в поддавки. Он ценил печатное слово. Сам факт публикации в журнале, в газете был для него безусловным знаком качества. Если, например, студент что-то опубликовал, значит, есть в нём творческий потенциал. Надо поддержать. Помню, как Е.И. хвалил моих товарищей – Юру Ковача, Колю Кузнецова, Сашу Юдахина. С трудом, но они прорывались к своему читателю.

Он начинал в Смоленске в тридцатые годы. Там жили А. Твардовский, М. Исаковский, Н. Рыленков, А. Македонов. Я всегда чувствовал у него эту невидимую связь с земляками. Возможно, поэтому Е.И. хорошо сознавал, как важно для нормального развития человека яркое литературное окружение и здоровая литературная атмосфера, особенно в молодости.

Любил книгу, собрал замечательную библиотеку. Однажды в разговоре о книжных раритетах с грустью сказал, что до войны имелся у него томик Ивана Бунина с автографом писателя, утраченный, к сожалению, в сорок первом году, когда началась война. (Е.И. жил тогда в Краснодаре.) Казалось бы, что здесь удивительного, но надо понимать, что в те времена Бунин числился просто по разряду белоэмигрантских авторов.

Во второй половине минувшего века Омск филологический, писательский, педагогический немыслим без фигуры Беленького. Часто ловлю себя на мысли, что мне не хватает его советов, оценок, юмора. Вне профессии, в быту Е.И. запомнился как обаятельный человек, любящий шутку, внимательный к ближнему, порой даже застенчивый. Главное, чему он научил всех нас, – это две вещи: беззаветно любить отечественную литературу и сохранять достоинство в самых трудных обстоятельствах. Его уроки незабываемы.

ЭДМУНД ШИК



Если измерять ценность собственной жизни годами дружбы с близкими тебе людьми, то получится немало внушительных цифр. С Эдмундом Генриховичем меня связывали дружеские узы более сорока лет, я дорожил этим богатством. Мы дышали одним воздухом. Его могучее здоровье всегда казалось несокрушимым, «железным», и когда в июне 2002 года тяжёлая болезнь всё-таки победила, уход Э.Г. воспринимался как неожиданная нелепость, сбой в жизненной программе, рассчитанной на более долгий срок.

Он был моим старшим товарищем. Особенно я ценил в нём две главенствующие черты: творческую энергию и природную доброжелательность к человеку. Тут не обойтись без контекста, без необходимого для портрета фона. Мы работали на одной кафедре. Всем было видно, каков научный потенциал у каждого из преподавателей. Партийные дамы любили рулить, лидируя по части мелких интриг. Одна из них в течение многих лет привычно рапортовала коллегам, что её рукопись готова в черновом варианте, однако никто из членов кафедры никогда не читал мифических черновики, тем более беловиков. Другая, из числа б/п, слыла мастером устного жанра, станок Гутенберга ей так и не понадобился.

Э.Г., не в пример коллегам, много писал, широко печатался, основательно занимался историей литературы, преимущественно сибирской. Он был литератор, известный в Сибири. Наверное, не случайно, что кандидатскую диссертацию Э.Г. посвятил творчеству Владимира Зазубрина. В то время это поступок, достойный уважения. Молодая генерация филологов-шестидесятников активно стала изучать наследие писателей, которые, как утверждал официоз, не представляли «магистральную» линию советской литературы. Кто же они? Вот лишь несколько немагистральных: Б. Пильняк, Б. Пастернак, М. Булгаков, И. Бабель, П. Васильев, Ю. Олеся, А. Платонов. Среди них и Владимир Яковлевич Зазубрин. Диссертанты в своём выборе шли на определённый риск. Автор романа «Два мира» хоть и был к тому времени реабилитирован, но вокруг его имени всё ещё клубились остатки прежних грязноватых слухов, а ряд произведений просто замалчивался. Между тем при жизни звезда Зазубрина сияла ярко. Он редактировал «Сибирские огни», пестовал начинающих, отбивался от погромщиков из СибАПП. Позже, переехав в Москву, стал редактором журнала «Колхозник». По злым наветам Зазубрина исключили из партии – типичная история. М. Горький безуспешно пытался помочь, обращался к Сталину. «Имею к Вам просьбу: не пора ли восстановить в партии Владимира Зазубрина, сибирского писателя? Человек он прекрасно настроенный, написал очень хороший роман "Горы", а наказан достаточно крепко. И едва ли заслуженно в такой мере. Очень ценный человек». Наивный классик. Ценного человека расстреляли осенью 37-го года. Спустя четверть века молодой омский филолог Э.Г. Шик не убоился трудностей в деле восстановления доброй памяти талантливого писателя. А мог бы выбрать заведомо благополучного автора. Да, ещё раз назову диссертационное исследование коллеги поступком.

Отдельная страница биографии – многолетнее сотрудничество критика с журналом «Сибирские огни». Статьи, ре-

цензии, обзоры, напечатанные там, свидетельствуют о том, как внимательно он следил за современным литературным процессом, анализируя произведения маститых, радуясь успехам молодых, особенно – омичей. Умел подбодрить или же просто заметить в шумном потоке (что тоже важно на первых порах дебютанта). Так называемые простые люди интересовали Шика не меньше, чем «герои». Возьму здесь типично шикарный – извиняюсь за невольный каламбур – фрагмент из рецензии на первую книжку рассказов недавно ушедшего от нас прозаика Михаила Малиновского «Память». Рецензент очень точно подмечает наиболее, может быть, существенное в даровании писателя. «Да, молодого автора, вступающего в литературу, занимает именно эта, поистине грандиозная проблема (то есть на чём держится земля. – С.П.). Он исследует характеры наших современников, людей, занятых самыми разными делами, чаще весьма скромными, малоприметными. Но мысли и чувства их всегда значительны».

Нелегко говорить правду, если живёшь с человеком бок о бок, знаешь его слабости, промахи. Вдруг обидишь? Э.Г. обладал завидным чувством меры, за текстом всегда видел живого человека. Случалось, не всегда удавалось ему удержаться от преувеличений, но это шло от веры в писателя, от доброго сердца. Одна из его книг так и называется – «К сердцу человека».

Иное дело – принципиальные вопросы, тут он не искал компромиссов. Мне запомнились полемические заметки в «Омской правде», где критик откликнулся на очередной выпуск альманаха «Иртыш». Некто В. Сорокин сообщал о трагической судьбе Павла Васильева, делая вид, будто впервые публикует неизвестные архивные документы. Текст отдавал специфическим «патриотическим» душком. Неискушённому читателю, вероятно, казалось, что произошло открытие. Э.Г. отреагировал немедленно, объяснил: публикатор работает в жанре домислов, предлагает имитацию документов

либо их «усечённый» формат. Другому автору альманаха, В. Хомякову, спокойно ответил, что негоже возвышать одних писателей за счёт других. И что антисемитские вздохи о «гельманах и шатровых» не к лицу интеллигентному человеку с университетским дипломом. «Зачем же так?» – спрашивал Шик, а полемические заметки заканчивал напоминанием о приоритете эстетического принципа, «единственно нетленного для литературы и искусства».

Это было написано в период довольно острой конфронтации в писательской среде и в нашем обществе. Потребность политического размежевания вносила неизбежные коррективы в жизнь творческих союзов. Поэтому русский немец Шик прервал членство в Союзе писателей России и вошёл в новое литературное объединение – СРП. Слово не расходилось с делом.

Чуть не забыл сказать о названии заметок «Пора утеплять сердца российские» – так он их озаглавил. Утепление сердец... Призыв, раздавшийся в разгар нешуточного противостояния, дорогого стоит. В нём отражается характер миротворца. Физически крепкий, выделявшийся в толпе, Э.Г. в быту являл собой пример редкой деликатности и мягкости. Грызня, склоки, подковёрная «подлянка» были ему органически чужды. Разве забыть, как в трудные для меня дни он стоял рядом, чтобы я не чувствовал себя одиноким?.. Я не чувствовал!

С ним было легко. Э.Г. любил застолья, шутку, весело и с юмором импровизировал в дружеских компаниях, охотно беря на себя роль тамады. По складу характера был, конечно, экстравертом без какого-либо второго плана, скрываемого от окружающих. В чём-то он был даже простодушный человек.

Ещё вспомнилось. В студенческую пору я слушал его лекции по курсу советской литературы. Что греха таить, не всё воспринималось адекватно, с чем-то хотелось поспорить. Теперь, с учётом личного педагогического опыта, понимаю, как

непросто чувствовал себя Э.Г. в рамках обязательной вузовской программы и сложившихся литературоведческих традиций. Тем не менее лектор оставался филологически корректным, избегал категорических оценок. Мне кажется, мы это понимали. До сего дня храню впечатление от комментариев к «Высокой болезни» Пастернака. Многие из нас понятия не имели о поэме и её авторе. Э.Г. говорил свободно. Позже он рассказал мне, как в день похорон поэта поехал на электричке в Переделкино и как там всё было окружено нарядами милиции, так что пробиться к даче было трудно. Значит, пропагандистская шумиха в связи с романом «Доктор Живаго» не смогла поколебать его литературных пристрастий.

В последние два-три года у него появились проблемы со здоровьем. Однажды Э.Г. сказал о них как бы между прочим – мы сидели рядом в театральных креслах – и в голосе у него я услышал скрытую тревогу. Спустя год с небольшим он выглядел уже серьёзно больным. Похудел, в глазах застыла печаль. За два с половиной месяца до кончины я приехал к нему на кафедру. Сперва говорили о делах служебных и литературных. При поддержке друзей у Э.Г. только что вышли из печати мемуарные очерки «Были-небыли». Я получил экземпляр зелёной книжицы с трогательным пожеланием творческого долголетия и здоровья. Тема возникла сама собой. «Вот, – сказал он как бы удивляясь и несколько иронически, – вдруг я оказался интересен для врачей».

Болезнь прогрессировала. Десятого мая я поехал навестить его в многопрофильной больнице на левом берегу. Здоровяк, жизнелюб и больница – это казалось невероятным. Опускаю грустные подробности моего визита. Скажу лишь, что я выразил надежду на скорейшее возвращение к семье, но по измученному лицу больного было видно, что он не верит. Думаю, он устал от посетителей. Через полчаса я попрощался с ним уже навеки. Домой вернулся в подавленном состоянии. А в начале лета мы, друзья и коллеги, провожали своего товарища в последний путь.

ВИЛЬЯМ ОЗОЛИН



I

С чего и как начать? Может быть, подражая интонации Булгакова?

Однажды в начале лета 1962 года, в час ослепительного солнечного сияния, на одной из центральных улиц Омска навстречу мне шагал гражданин. Это был человек крепкого телосложения, он куда-то спешил, будто не замечая никого вокруг. Лицо его показалось мне необычайно выразительным: красиво вылепленный нос, глаза, заметно навывкате, волевой подбородок. Я принял его за приезжего, остановился и несколько мгновений глядел ему вслед. Сейчас вспомнилось, что так я оборачивался потом только два раза в жизни. Это уже в Москве. На Суворовском бульваре буквально замер на месте, узнав Святослава Рихтера. Маэстро шёл медленно, как-то отдельно от всех, не смешиваясь с быстротекущей толпой, пока не скрылся в ближайшем подземном переходе. Другая картинка: на бывшей Собачьей площадке поздним осенним вечером моё внимание привлекли два скромно одетых старичка-одуванчика, они трогательно держали друг друга «под ручку». Один из них был Леонид Леонов, живой классик. В одном носке из-

под коротких брюк предательски подмигивала порядочная дырка. Разве угадаешь наперёд, какой пустяк врежется тебе в память...

Однако я отвлёкся. Итак, полвека тому назад в редакции «Молодого сибиряка» открываю свежий номер газеты и первым делом читаю стихотворение о Японских островах. Ничего особенного, но мне понравилось. Смотрю подпись: В. Гонт. Спрашиваю у Виталия Попова, кто таков. «Как, разве ты не знаешь, – удивляется Виталий. – Это Виля Озолин. Его отца расстреляли, а Гонт – фамилия матери».

Осенью мы познакомились. Случилось это при следующих обстоятельствах. Мне позвонили (уже не припомню кто) и сказали, что в Омск приехал московский поэт Юрий Ш., замеченный самим Николаем Тихоновым. Он хочет встретиться с заинтересованной публикой, главным образом, конечно, литературной, но место встречи под вопросом. Нельзя ли её устроить в педагогическом институте? Я, студент второго курса, отвечал, что такие вопросы решаются руководством учебного заведения. Встреча планировалась на вечер, а в те годы с «нецелевым» использованием аудиторного фонда было строго, его мог дать только ректор. Я сказал, что попробую. Наш ректор Иван Петрович Меленков знал меня с детства, мало того – мы жили в одном доме, в одном подъезде. Я обратился к нему и получил разрешение. «Под твою ответственность», – предупредил меня Меленков. Вечером в корпусе на Партизанской мы встречали московского гостя в сопровождении того самого человека, которого я видел раньше на улице. Прохожий, «на нас непохожий», он же Вильям Озолин, он же Гонт собственной персоной! С первых минут стало понятно, что инициатива вечера принадлежала ему.

В одной из аудиторий нас набралось человек двадцать начинающих. Гость рассказывал о себе, читал стихи, и скромное в общем-то событие показалось мне значительным. По окончании Вильям предложил продолжить вечер у него

дома. Вся оживлённая компания выкатилась на свежий воздух, кто-то ушёл. Смеркалось, но магазины ещё работали, так что к Озолину явились не с пустыми руками. Он жил на улице Пушкина в большом деревянном доме на квартире своей бабушки. В вечерней мгле, без уличных фонарей место выглядело мрачновато. Сейчас его не узнать, позади театра-трамплина распласталось краснокирпичное административное здание.

Из тех, кто оказался в тесноватой комнатке Вильяма, помню Михаила Петрова, работавшего тогда на каком-то «почтовом ящике». Менее отчётливо вижу Юрия Ковача и Георгия Шеходанова. Хозяин был в ударе, он всё ещё находился во власти воспоминаний о своём житье-бытье на Сахалине. Рассказы о друзьях сопровождались пением под гитару. С гордостью показывал он на пронзительно яркий пейзаж художника Гиви Монткава, с которым близко сошёлся на острове. Картина висела высоко на стене, справа от входной двери, вызывая ассоциации с Ван Гогом или Гогеном (я в ту пору увлёкся импрессионистами). Пейзаж украшал комнату поэта и создавал иллюзию волшебного окошка, распахнутого в другой, фантастически-солнечный мир.

О матросской гитаре разговор особый. В тот вечер, кроме своей «Аляски», Вильям спел три песенки на слова Сельвинского. Одна удалая цыганская о каких-то оболенских рысаках, другая о матросиках, идущих домой «с буржуйского плена». И ещё что-то бодрое, тоже о Гражданской войне. Мне запомнился только рефрен: «Ничего не случилось, пожалуй, / Просто шла кавалерия вниз...» Вильям пел самозабвенно: лихая расцыганская интонация сменялась у него грустной, почти жалобной (это о матросиках, которых «споразило грозой»), а кавалерия, само собой, получалась героико-романтической, трогательной. Как и баллада о ревтрибунале. Её написал Михаил Голодный в начале тридцатых, напечатал в «Огоньке». И вот Вильям сделал песню о мужестве, но с лирикой и подкупающей суровой простотой.

На Диёвке-Сухачёвке
Наш отряд.
А Махно зажжёт тюрьму
И мост взорвал.
На Озёрку не пройти
От баррикад,
Заседает день и ночь
Ревтрибунал.

Это был настоящий концерт, устроенный нам хозяином. В наше время ещё не существовало таких слов, как «бард», «хит», «авторская песня» и прочее.

Мы любили Окуджаву, позднее кумиром магнитофонных записей стал Высоцкий. Но они жили далеко, Вильям же был наш, свойский, хотелось ему подражать. Поэту и моряку, бродяге и любимцу женщин многие из нас втайне завидовали.

Я помню его и на литературных семинарах молодых омских стихотворцев. Писательская организация чаще всего приглашала в качестве руководителя московского поэта-фронтовика Марка Соболя, сына довольно известного в двадцатые годы прозаика Андрея Соболя. На обсуждении стихов Вильям всегда выступал бурно, даже задиристо. Его творческое начало проявлялось так очевидно, голос звучал так уверенно, что в Союз писателей он был принят сразу по выходе первой книжки своей «Окно на Север», изданной в форме вытянутой по горизонтали тетрадки наподобие «Треугольной груши» А. Вознесенского. Для молодых читателей на всякий случай сообщаю: «Окно» напечатали тиражом пять тысяч экземпляров, и стоил сборник восемнадцать копеек. «Груша» имела пятидесятитысячный тираж при цене двенадцать копеек (две поездки на метро). Такой была одна из примет времени – востребованность поэзии.

В Омске он, как ни странно, печатался редко, однако я могу ошибаться, ведь полной библиографии Озолина ещё

нет, никто этим не занимался. А следовало бы – дело увлекательное и полезное. Оглядываясь на минувший век, понимаешь, что пришла пора собирать камни.

Года четыре кряду я бывал дома наездами, Вильяма видел редко, но потом мы периодически встречались то на радио, то в редакциях газет или на августовских книжных ярмарках. До меня доходили противоречивые слухи о сложных отношениях Вильяма с руководством писательского сообщества, однако я не относился к ним серьёзно: где же взять писателей с хорошими характерами и простыми биографиями?.. И вдруг однажды узнаю, что Вильям покидает Омск. Помню чувство обиды за него и за нас. Куда? В Читу! Зачем? Уехать из родного города? Сошёл с ума! Не будучи в курсе всех обстоятельств, считал это ошибкой. При очередной нашей встрече Вильям подтвердил слух о предстоящем отъезде. Спустя несколько дней мне позвонила Инна Антоновна Шпаковская и предложила сделать радиопередачу о нашем друге с его участием. Я с радостью согласился, сочинил текст, и в июне семьдесят второго года передача вышла в эфир. Вильям читал стихи, принёс гитару и спел песенки аляскинского цикла, ставшие уже очень известными у сибиряков. Всё ещё не верилось в реальность расставания, я мурлыкал про себя обнадеживающие строчки:

Может, невесты
забудут ребят,
может, других они ждут вечерами.

Здесь чувствуется невидимая рука редактора. Вильям обычно пел вторую строчку иначе:

Может, на танцы пойдут с фраерами.

Улавливаете разницу?

Ничего!..
Мы вернёмся назад,
и последнее слово – за нами!

Примерно через полчаса после того, как прозвучала передача, совершенно счастливая Инна Антоновна сообщила мне, что ей постоянно звонят матросы, плавающие по Иртышу, они в восторге и просят повторения передачи. Я порадовался за Вильяма.

С его переездом в Читу литературный Омск утратил какие-то яркие, неповторимые краски. Пожалуй, я впервые задумался тогда над тем, что мои земляки, в сущности, мало знают, кто такой Вильям Озолин, как связана с нашим городом история его семьи. Да и сам Вильям не спешил с автобиографическими признаниями. Скупая поэтическая ремарка появилась позже, в конце семидесятых.

Мне от деда, от шведа,
От отца, латыша,
От полярного ветра – в наследство душа.
А от бабушки милой, что южанкой была, –
Воронёные крылья, переносье орла.

В последнее время ветви генеалогического древа поэта сделались более доступными. Дед Вильяма швед Теодор Шкенсберг до революции служил кондуктором на рижском заводе «Проводник» и был женат на латышке Наталье Кришьяновне Поэгле, уроженке г. Риги. Бабушка окончила пять классов гимназии с золотой медалью и с 1911 года вплоть до 1915-го работала наборщицей в одной из местных типографий. В 1911-м у них родился сын Ян. Когда началась Первая мировая война, Теодора Шкенсберга мобилизовали в русскую армию, и вскоре он пропал без вести. Из Риги, захваченной немцами, многие латышские семьи бежали в Россию. Так осенью 1917 года семья молодой женщины

оказалась в Петрограде. Затем – Сибирь, Томск. Причины переезда остаются за кадром. Идёт Гражданская война. В 1919 году Наталья знакомится с подпоручиком 12-го Верхнеудинского полка Павлом Поляковым из армии Колчака. Вместе они живут совсем недолго, пока офицера не командировывают в Красноярск. Жесточайшее противостояние белых и красных близится к развязке. Наталья приезжает к Полякову в Красноярск, но там узнаёт, что подпоручик арестован и расстрелян. Другая версия: да, арестован, а расстрелян позже, возможно, по клеветническому обвинению.

Пути людские неисповедимы. В начале двадцатого года она выходит замуж за политработника Красной армии Михаила Ивановича Озолина, члена РКП(б) с 1917 года, выходца из латышских крестьян-бедняков. Этот человек усыновляет Яна Теодора, и с тех пор отец Вильяма носит фамилию отца. Дальнейшая жизнь семьи, уже в Омске, относительно спокойна. Мать семейства сначала работает счетоводом в магазине, в тридцатые годы возглавляет массовый сектор областного комитета Красного Креста. Михаил Иванович на ответственных хозяйственных должностях. Биография Яна тоже достаточно типична. В школе не доучился, служил в армии на Дальнем Востоке в качестве сотрудника газеты «Часовой ОКДВА», в Убелосибире работал кочегаром (две навигации на Иртыше). Ещё принимал участие в экспедиции на сибирский Север. Стал журналистом. Писал для омских газет на литературные темы. Недолгое время числился в штате «Омской правды» и «Молодого большевика», сотрудником Омского книжного издательства. Как поэт дебютировал сборником стихотворений «Ночное солнце» в 1935 году. Казалось, вся жизнь впереди.

Молодой человек дважды, в 1932-м и в 1937 году, уезжает из Омска, чтобы найти творческую работу в Москве. Решение правильное. Но и в ТАСС, и в управлении краевых издательств ОГИЗа ему отказывают. Он пытается жаловаться в «Комсомольскую правду» на своё необоснованное уволь-

нение из редакции «Молодого большевика» – всё тщетно. Тридцать седьмой – это разгар террора. Ян наверняка знает, что уже нет в живых Павла Васильева. Самый удобный момент – сменить ПМЖ, не возвращаться домой, затеряться где-нибудь на окраинах столицы, а ещё лучше снова жениться и взять фамилию жены. Возможно, ураган прошёл бы стороной, сохранил бы жизнь. Вышло иначе.

Год этот принёс омским латышам горе и слёзы. Выполняя приказ Сталина, местные энкавэдэшники якобы раскрыли латышскую националистическую контрреволюционную организацию. В декабре в Омске начались аресты. В течение двух недель Озолины были арестованы, а всего двадцать восемь человек латышского землячества, среди них несколько членов ВКП(б). Дознание шло в ускоренном темпе, особое совещание работало автоматически. Мать и сына расстреляли в один день в феврале 1938-го, Михаила Ивановича через шесть дней. Убили всех до одного.

Другая ветвь генеалогического древа Вильяма оказалась по советским меркам благополучной. С бабушкой-южанкой мне встретиться не довелось, зато с его матерью я был коротко знаком. От Деборы Ароновны я впервые услышал семейную историю Озолиных, а также много интересного о литературном Омске 20–30-х годов. Однажды чудесным летним вечером она любезно согласилась быть моим гидом по улочкам старого города, главным образом в районе Газетного переуллка и Краснофлотской. Помню, как подошли к неказистому дому, в котором размещалась до войны редакция газеты «Молодой большевик», где работал её муж. «А вот окно Яна», – моя спутница остановилась и показала рукой на центральную часть второго этажа. Это было сказано как-то непосредственно, почти весело, и мне на мгновение показалось, что окно сейчас откроется, и выглянет отец Вильяма.

Так кровь латышей, шведов и евреев перемешалась в одном человеке. Для наших арийцев возникают неразрешимые проблемы. Для меня их нет, потому что Вильяма Озоли-

на я считаю прежде всего настоящим сибиряком, а сибиряк – это звучит гордо.

II

У Вильяма были мужское обаяние и характер, открытый для общения. Лёгкое дыхание – это к нему тоже подходит, как бы ни шокировала столь неожиданная ассоциация. Романтик, лирик по природе, он оставался им и в своей морской стихии, и когда воспевал полярный Север, куда его занесло в молодые годы. Достаточно суровый материал часто шёл под звук гитары. Жанр простой на первой взгляд песенки обретал новые краски. Тема дальних северных странствий хотя и несла в себе специфическую экзотику, но по большому счёту выражала сыновнее чувство любви к рано погибшему отцу. Вильям как бы продолжал жизнь отца, подстреленного на взлёте. При всех прочих различиях вижу очевидную преемственность, вплоть до сознательных текстуальных совпадений.

Сдержанно, редко
найтовы скрипят.
В кубрике
люди
усталые спят
(Ян)

Вот уж и Аляска!
Скрипят найтовы.
В кубрике матросы усталые спят...
(Вильям)

Семейная трагедия безотцовщины растянулась у Озолиных на десятилетия. В стихотворении Яна «Фрагмент» нахожу слова, которые могли бы принадлежать Гамлету:

Отец мне жизнь оставил и ушёл...

А я слышу, как их повторяет Вильям. В его дневнике есть довольно точное признание о двух типах лирического высказывания: стихи «рассудочные» и «с чувственным началом». Более всего ему удавались как раз те, где он давал волю чувствам, фиксируя в слове динамику душевных состояний и свежих первичных ощущений. Для меня он всегда был именно поэтом чувств. У Вильяма не найдём философских рефлексий, нет и глубокомысленных обобщений или злободневных публицистических инвектив, как, например, у его красноярского друга Романа Солнцева, склонного искать «опору вне поэзии» (выражение С. Липкина). Он оставлял политику на другой территории, всячески избегал её, ревниво оберегая чистоту лирического родника. Благодаря Вильяму я рано понял, может быть, самое главное: мало уметь сочинять стихи, пусть и хорошие. Надо жить как поэт. Вильям сознательно делал себе биографию, жил там, где хотел, и как хотел.

III

Из Читы, впоследствии из Барнаула, приходили его письма друзьям, стихи. Вот сохранившаяся у меня газетная подборка стихотворных посвящений за ноябрь 1973 года. Адресаты такие: «Мой дом» – прозаику Михаилу Малиновскому, «Случай» – художнику Виктору Смирнову, «Возвращение с Севера» – журналисту Александру Лейферу, «Синяя весна» – сотруднику Омского радио Инне Шпаковской. Одно из стихотворений посвящено журналисту Валерию Зинякову, с него «списан» Буняков в повести «Чёрные утки».

В восьмидесятые годы Вильям часто приезжал в Омск. Почти всегда мы встречались. Было заметно, как радовался он, общаясь с друзьями, искренне его любившими. Помню семидесятилетие Е.И. Беленького, когда после официальной части в актовом зале в институтской столовой шёл банкет в честь юбиляра. Виля немного опоздал и присел рядом со мной в конце стола. Говорили, разумеется, на юбилейную

тому. Он считал Беленького своим самым первым наставником. Как-то незаметно наш разговор принял другой оборот. Вильям коснулся омского окружения отца и назвал одного известного литератора, причастного, как ему казалось, к гибели Яна Озолина. Я выразил сомнение. Мы ничего не знали наверняка, архивы КГБ оставались закрытыми.

Кажется, в тот приезд удалось сделать несколько синхронов с Вильямом для документального телефильма о литературном Омске. Снимали в старом здании Пушкинской библиотеки. Стоя у окна, сын читал стихи отца, вспоминал о реке Тишине, воспетой Мартыновым. Через год он приехал на первые Мартыновские чтения, блестяще выступил на открытии праздника. Кстати, не пропускал и следующих юбилейных дат нашего выдающегося земляка.

Чем больше Вильям колесил по стране, тем острее чувствовал тоску по родному городу. Омск, как магнит, притягивал поэта, и в последние годы возвращение на родину было главной его мечтой. Так, свою мечту, например, осуществил Виктор Астафьев, вернувшись в Овсянку. На склоне лет у многих, отъехавших в дальние края, отчий дом обретает черты невыразимо прекрасной сказки, куда хочется вернуться во что бы то ни стало. В мае девяносто пятого Вильям писал мне: «Дорогой Серёжа! Поездка в Омск всколыхнула во мне самые глубинные чувства к родному городу, и я, видимо, окончательно решил... вернуться. Набережная Иртыша, старые друзья, театральность – без которых я здесь просто страдаю! Конечно, не завтра, не сразу...» За пределами Омска настроение Вильяма первым почувствовал Роман Солнцев.

А в краю далёком, в городе средь леса
Нету у Озолина к жизни интереса!
Что же с ним случилось?..

.....

Ведь когда-то в юности он ходил матросом
к берегам Канады, к неродным берёзам,

и летели чайки вслед за кораблями,
раскрывая рты беззвучно над волнами.

Из письма от 22 марта 1996 года: «В Омск переберусь, создадим (подчёркнуто дважды. – *С.П.*) клуб литераторов с участием творческой интеллигенции – актёры, художники, врачи, учителя и пр. Без этого – без общения, художник постепенно умирает. Здесь я общаюсь с театрами, художниками моего поколения. Этим и жив».

Настроение противоречиво, потому что вокруг всё-таки чужое пространство, хотя народ сибирский, точнее – алтайский. Вильям признаётся: «...Я понял, что, переехав из Читы в Барнаул, а не в Иркутск, куда звали, я совершил непоправимую ошибку, т.е. – попал в такую дыру и болото!.. Ну да я всё же очень серьёзно наметил переезд в Омск. Это – через три года, когда Ира пойдёт на пенсию» (16 июня 1996).

В другом письме звучит горькая нота одиночества: он чужак («ни с кем особо не дружу, должностей не требую»). И снова про мечту: «Я не скрываю, что была бы возможность, давно бы переехал в Омск» (9 ноября 1996).

Жить вдали от родной почвы и не вращать в новую – штука тяжёлая. Об этом я думал, читая его дневниковые записи. Причины очевидны: возраст, нездоровье, болезнь матери, рефлексии. И проза жизни. «В бытовом отношении живу пока трудно (как все), иной раз и на почтовый конверт денег свободных нет. Да ведь не привыкать нам к нищете» (9 ноября 1996).

Я – за жизнь свою
не накопил денег.
То, что было –
не воротишь, не вернёшь.
Деньги – что?
Они на улицах лежат.
Ну, а друга –
так вот, просто, не найдёшь!

IV

Последний раз я видел Вильяма на Мартыновских чтениях девяносто пятого года. Мы обнялись на сцене Дома учителя, и первое, что он сделал, – извлёк из внутреннего кармана пиджака серебряную фляжку, предлагая глотнуть за встречу. Выпивали и раньше, и не раз, но в тот момент я дрогнул: грозная болезнь неотвратимо наступала на него. «Но ведь это ж – морская привычка!» – успокоил я себя строчкой из его старой песенки.

Все дни литературного праздника Вильям находился в приподнятом настроении. Он умел завладеть вниманием аудитории земляков. Так случилось в музее К. Белова, на вечере поэзии в Доме учителя. Везде ему сопутствовал успех. Особенно памятным для меня оказался спектакль молодёжного театра.

Там за основу был взят сценарий, написанный по мотивам наших, Вильяма и моих, воспоминаний о встречах с Мартыновым.

Актёры изображали нас, читали стихи Леонида Николаевича. Получилось так, что мы оба вошли в зал, когда свет уже погас, и нам пришлось сесть с краю в ближнем ряду. Конечно, мы волновались. В какой-то момент я взглянул на Вильяма. Было заметно, как внимательно и напряжённо он следит за ходом театральной композиции. Потом со сцены зазвучали стихи Вильяма, посвящённые Мартынову, и я увидел в его глазах слёзы.

Вильям возвратился в Барнаул, получив у нас заряд бодрости. Между тем болезнь прогрессировала, и он не скрывал этого. «Чувствую себя неважно, и сосредоточиться нет сил», – написал мне на исходе девяносто шестого, а в новогодней открытке сообщал о своих новых рассказах: «...Такое впечатление, что будто я старый, умный и взрослый, а герои мои – дети, милые и неразумные. Откуда это у меня? Много видел, много пережил... От этого. Ну, будь. Твой Вильям».

Последнее письмо датировано третьим мая девяносто

седьмого. В конверт была вложена цветная фотография. Вильям в нарядном голубом свитере сидит на фоне картины Николая Третьякова, где изображён огромный красный не то бык, не то носорог. На обороте: «Сергею Поварцову – на добрую и, дай Бог, долгую память. Апрель 1997. Вил. Озолин». Снимок, однако, не радовал, а вызывал тревожное чувство. Я долго всматривался в такое знакомое лицо. Губы крепко сжаты, взгляд голубых глаз устремлён куда-то в бесконечность, и сразу видно, что Вильяму плохо. Никогда прежде он не присылал мне своих фотографий...

В июне в Омск приехала его жена Ирина. Я решил послать ему с ней какой-нибудь подарочек, что-то приятное. Но что? Выручил альбом о Солженицыне, изданный при моём участии. Хотелось порадовать Вилю, ведь в нём немало фотографий города, тех мест, которые были ему дороги с детских лет. Ирина сказала, что Вильям болен – и серьёзно.

Пятого июля (я запомнил это число) раздался телефонный звонок. Тонкий детский голосок в трубке обращался ко мне по имени. Я растерялся, не зная, что ответить. Вильям назвался и объяснил, что голос – это следствие болезни. Я с трудом подбирал слова, приличествующие ситуации. Он перевёл тему на альбом, похвалил, сказал, что похвастался перед бывшим омичом писателем Марком Юдалевичем, и старик позавидовал.

Не помню, сколько длился наш «межгород», но в конце Вильям с напускной строгостью подвёл финальную черту: «Сергей, ну, ты меня не разорвай, давай будем закругляться». Мысленно я обнял его. В трубке раздалась гудки. Он позволил, чтобы проститься.

В августе, накануне своего дня рождения, Вильяма Озолина не стало.

АЛЕКСАНДР САНИН



I

Ярчайшее впечатление детства – фильм «Бессмертный гарнизон», снятый по сценарию К. Симонова. Для нас, послевоенных ребятишек, война воспринималась как очень близкий вчерашний день страны. По рассказам отца я кое-что знал о своих родичах – партизанах в Брянских лесах, мамин брат служил в артиллерии и прошёл всю войну, у моего товарища из соседней квартиры отец погиб. Страшным оскорблением в дворовых стычках считалось слово «фашист». Наш патриотизм был естественным чувством, воспитанным самим временем.

Фильм рассказывал о героях. Мне казалось, что все они погибли. И вот однажды у нас в доме я увидел живого героя, защитника Брестской крепости. Появление гостя требует некоторых объяснений. Моя мама после окончания института работала учителем сначала в средней школе № 11, но школу по каким-то причинам ликвидировали, и осенью пятьдесят шестого года маму перевели в новый педагогический коллектив 12-й школы. Она занимала двухэтажный кирпичный дом, принадлежавший до революции омскому богачу Липатникову. Директором школы назначили участника войны Александра Степановича Санина. Наше знакомство состоялось, должно быть, в конце пятьдесят седьмого года.

Мама быстро подружилась с коллегами, любившими семейные застолья. Дни рождения, 8 Марта, новогодние и весенние праздники отмечались весело, шумно, с множеством разных домашних вкусностей и напитков. За столом по русскому обычаю женщины любили петь, мужчины обсуждали последние политические новости. Санин был самым старшим в этой учительской компании; в день нашей первой встречи ему ещё не стукнуло и пятидесяти. Теперь эта цифра не кажется мне пугающей.

Как написали бы в старину, Александр Степанович имел наружность обыкновенную, рост средний. Широкий лоб с глубокими залысинами, густые чёрные брови и никакой седины. Улыбался он подкупающе приветливо.

В тот вечер я сидел за праздничным столом. Взрослые выпивали и закусывали, разговоры велись откровенные. Не помню, пришёл ли гость (далее буду именовать его сокращённо – А.С.) один или с женой. Однако запомнилось, что А.С. был в центре внимания всех присутствующих.

Он рассказывал о Бресте, о том, как началась война. Все мы, притихнув, слушали его историю. Будь я вундеркиндом вроде Димы Быкова, записал бы слово в слово. Увы, я не вундеркинд, мне тринадцать лет, поэтому запомнил отрывочно и, в основном, вторую часть рассказа. Воспроизвожу по памяти.

Когда писатель С. Смирнов начал вести радиопередачи о защитниках Брестской крепости, А.С. не слышал в них своей фамилии. Он понимал, что Смирнов предпринял уникальное по тем временам журналистское расследование и, поскольку внезапное нападение на крепость застало наших людей врасплох, многого ещё не знал, судьбы многих её защитников оставались неизвестными. Смирнов просил откликнуться всех, кто выжил и был причастен к обороне цитадели. А.С. говорил, что он сразу взялся за воспоминания, исписав целую тетрадь, и отправил ее в Москву. В рассказе А.С. сквозила обида: Смирнов, мол, его командирские действия в первые дни обороны приписал другому человеку, тоже офицеру.

А.С. с горечью рассказывал, как несладко пришлось ему после войны. За плечами осталось несколько госпроверок в фильтрационных лагерях, находившихся в ведении контрразведки СМЕРШ. У следователей не было претензий, они понимали, что старший лейтенант Санин не запятнал чести советского офицера. И тем не менее на родине, по возвращении в Омск, тыловые гэбисты отнеслись к нему с подозрением, третиrowали и даже угрожали. А.С. назвал и фамилию следователя, который проявлял особое усердие в устрашающих профилактических процедурах. Кто-то из учителей и, кажется, ещё мама, услышав эту фамилию, вспомнили, что хорошо знают жену «чекиста», довольно известную в городе учительницу.

До сих пор удивляюсь, что память сохранила хоть какие-то крупицы из того рассказа А.С.

Просматриваю фотографии, где директор школы Санин запечатлён в окружении учителей, среди них моя мама. Все ещё молоды, лица открытые, добрые. Вот Анна Ивановна Гребенникова. Вот Надежда Павловна Кучумова. Рядом Таисия Георгиевна Желякевич. А вот Нина Павловна Юрова. У А.С. обаятельная улыбка. Он, наверное, знает, что учителя его любят и потому держатся с ним по-свойски. Этим снимкам уже более полувека, но у меня такое чувство, будто снято вчера...

Ко мне А.С. относился дружески, при встречах всегда интересовался моими делами. Но однажды между нами промелькнула тучка. Пишу об этом только для того, чтобы подчеркнуть одно из его главных человеческих качеств – умение отстаивать справедливость, когда убеждён в своей правоте. Дело было в начале шестидесятых. Я и мой товарищ, поэт Юрий Ковач, однажды заявили в Дом художника на обсуждение очередной выставки с участием ветеранов кисти. В то время мы оба, ещё студенты, предпочитали живопись модернизма в пику реалистической традиции, имея в виду, например, Локтионова, Иогансона, Герасимова и других официально признанных советских художников. В Омске наши симпатии были отданы Николаю Третьякову и Николаю Брюханову,

в творческой манере которых местное начальство усматривало опасное отклонение от принятых эстетических норм социалистического реализма. В экспозиции были представлены новые работы как «стариков», так и «молодых». Едва началось обсуждение, мы с Юрой, не сговариваясь, запальчиво атаковали иллюстративные (так нам казалось) полотна маститых. Обсуждение проходило бурно, подробностей вспомнить не могу, зато хорошо помню, как слово взял А.С. и довольно жёстко, я бы даже сказал зло, нас пристыдил. Такой реакции от добрейшего А.С. я не ожидал. Только позже понял, что, будучи отцом талантливого сына-художника и сам не чуждый искусству рисования, он не мог смолчать и не взять под защиту то, что было ему дорого. В нём всегда жил защитник.

Потом наступил период, когда мы редко виделись, я уехал в Москву и потерял его из виду. Прошло много лет. После того, как на Омском телевидении вместе с Евгением Кулыгиным и Сергеем Шевырновым я принял участие в съёмках двух документальных фильмов, у меня появилась мысль снять ленту о Санине. Забегая вперёд, скажу, что замысел остался неосуществлённым (так же, как и фильм об А.Н. Либерове). Но в июле 1988 года уверенность в успехе задуманного предприятия была почему-то абсолютно твёрдой. Я позвонил А.С., и мы договорились о встрече у него дома.

II

Вечер выдался тихий, безветренный. Красный солнечный шар, описав полукруг над городом, медленно скатывался за Иртыш. Я отправился к А.С., жившему на проспекте Маркса. Он вышел меня встречать, стоял в дверях подъезда со стеклянной банкой и ложечкой в руках, что-то жевал. «Хочешь творожка?» — спросил А.С. и кивнул на банку в ответ на приветствие. Мы поднялись в квартиру. От чаепития я тоже отказался и в двух словах ещё раз объяснил, что мне нужно. Разговор обещал быть долгим. Доев творог, хозяин приступил к рассказу.

Земляк

Александр Степанович Санин родился в Омске в 1909 году. Отец его служил бухгалтером в военном училище, мать хозяйничала по дому. Супруги растили пятерых детей. Вспоминая былое, А.С. говорит с улыбкой:

– Я ещё помню Колчака возле здания Дома пионеров. Там находилась какая-то колчаковская контора. Верховный подъехал на автомобиле и, сверкнув лаковыми голенищами, скрылся за дверью.

Тема Омска интересовала меня чрезвычайно в связи с задумкой снять документальный телефильм об этом человеке, моём земляке. А.С. охотно отвечал на мои вопросы, чувствовалось, что ему приятно говорить о далёком прошлом.

– По профессии я историк и литератор, учился на двух факультетах сразу. Окончил пять курсов литфака и был допущен к госэкзаменам. Но сначала, в тридцать втором, меня призвали на срочную службу, я стал одногодичником.

Это означало, что те, кто имели высшее и среднее образование, служили в армии один год. Отправили меня в Читу. В Чите я окончил полковую школу и получил звание лейтенанта. Ещё год прослужил в кадрах, а потом я заявил, что мне надо кончать институт, и я вернулся в Омск.

«Свой брат, учитель», – думал я, слушая Санина и одновременно фантазируя о ключевых моментах будущего фильма. Отчасти они зависели от того, какие вопросы я задам собеседнику. «Хорошо, что А.С. старожил, абориген, многое должен знать и помнить», – мысленно подбадривал я себя. И, коли уж мои интересы так или иначе определяла литература, я спрашивал о писателях-омичах.

– Я видел живого Антона Сорокина, – сказал А.С. – Его картины были выставлены на Железном мосту. Иногда они сопровождались надписями, одна такая запомнилась, что-то вроде: «Я, Антон Сорокин, обещаю выплатить большую сумму тому, кто отгадает, что тут отражено». А это какая-то формальная штука, рассчитанная на пуций эффект. Да, Сорокина

все знали. Он одевался в пёстрые костюмы, лишь бы удивить публику. Такое время. Помню, между прочим, как по Любинскому шли два абсолютно голых человека...

– Сумасшедшие? – спросил я.

– Да нет, футуристы, должно быть. Впрочем, чёрт их разберёт, – рассмеялся А.С.

Я сказал, что мы сняли ленту о Павле Васильеве. Оказалось, что он знал отца поэта – Николая Корниловича, математика.

– Мы с ним сильно подружились, часто встречались на педагогических совещаниях. Я тогда работал историком в 8-й школе на 9-й Северной. Ах, как Васильев переживал за сына! Однажды рассказал, что его арестовали.

Решив в какой-то момент, что о литературных материях мы ещё побеседуем, а пока надо бы, чтоб хозяин побольше говорил о себе, я попросил вернуться к биографическим сюжетам. А.С. сказал:

– Когда началась финская, меня в сороковом году снова призвали и не отпустили, зачислили в кадры. Так я стал кадровым командиром. Сначала наш запасный стрелковый полк стоял в военном городке, затем дислоцировали его в Ишим. В мае сорок первого, числа десятого, полку приказали собраться в три дня и увезли в другой город. Там наш запасный полк расформировали, и на мою долю достался 333-й стрелковый полк. Он стоял в самом центре Брестской крепости.

Цитадель

– Я прибыл туда за две недели до начала войны, – продолжал А.С., – в должности ПНШ-2. Это значит: помощник начальника штаба полка по разведке. Здесь меня приняли кандидатом в партию. Но тут началась война, все документы потерялись. Поэтому я снова вступил в партию только в пятьдесят девятом году. Правда, стаж мне не восстановили.

Я попросил вспомнить ту июньскую ночь сорок первого. Он ответил, что уже написал для журнала, есть также его воспоминания в коллективном сборнике, изданном в Мин-

ске. Всё это я могу прочитать. Мне тогда сказал совсем коротко:

– Знаешь, поляки ведь говорили нашим: «Пане, пане, завтра будет война». Бомбёжка началась, пожалуй, в 3:15 ночи. Бомба пробила крышу, пол и потолок в здании комсостава, где я жил, и все сразу погибли. Я спрыгнул из окна второго этажа. Сначала мы думали, что это конфликт, не война.

Из воспоминаний Санина, опубликованных в сборнике «Героическая оборона Брестской крепости», издание 1963 года. Так он запомнил самые первые минуты вероломного нападения гитлеровцев.

«Написал письмо домой, немного почитал перед сном и уснул с книгой. Вообще эта ночь была для меня беспокойной; мои друзья возвращались с гулянья в разное время, и я часто просыпался. Но вот часам к трём ночи всё, наконец, утихло, и я уснул крепким сном праведника.

Вдруг оглушительный грохот потряс стены нашей казармы. Моя койка стояла у стены, и это спасло меня, так как тяжёлая бомба пробила здание от крыши до первого этажа, и все, кто был в комнате, оказались под грудой кирпича и обломков. Я с трудом натянул брюки и сапоги, нашёл пистолет и по краю стены пробрался в дверь на лестничную клетку.

В первый момент невозможно было ничего понять – огонь, грохот разрывов, обвалившиеся стены, повсюду пыль, дым. Я решил уйти от здания, чтобы не попасть под рушащиеся стены. В просветах дыма и пыли заметил мелькающие фигуры бойцов, которые скрывались в подвалах нашей казармы. Я тоже поспешил туда. Мне и в голову не приходило, что под этим зданием находились такие капитально сделанные подвалы с толстыми стенами, амбразурами и цементными полами. Сюда сбегались уцелевшие от первых бомб бойцы и командиры. В большом отсеке подвала они стояли группами вдоль стен. Вбежав в отсек, я крикнул, насколько мог, громко: "Кто здесь старший?". После некоторых усилий мне удалось установить, что старше меня по званию и должности никого не было. Тог-

да я объявил, что командование принимаю на себя, и приказал выстраиваться. К этому моменту в подвале собралось человек 30–40. Я начал расставлять бойцов по амбразурам и входам».

Одно противоречие, характерное для того периода, сразу бросается в глаза. С одной стороны, поляки предупреждают советских товарищей о близком начале вторжения. С другой, наши не очень верят, думая под влиянием сталинской пропаганды даже в момент бомбардировки, что это не более, чем пограничный «конфликт» с немцами. Но что взять с просто-го лейтенанта? Ведь и в Советском правительстве не поняли действий противника. Весьма красноречив трагический по своей сути эпизод, когда немецкий посол Шуленбург приехал к Молотову, чтобы объявить о начале войны.

В ноте нацистов нападение на СССР названо «контрмерами». Шуленбург подавлен, а Молотов ничего не понимает. Поразительна запись в стенограмме: «Тов. Молотов спрашивает, что означает эта нота? Шуленбург отвечает, что, по его мнению, это начало войны». Игра советских руководителей с Гитлером зашла так далеко, что председатель Совнаркома уже не мог отличить её от реального сценария, по которому стал осуществляться план «Барбаросса».

В течение четырёх первых дней омич лейтенант Санин вместе с боевыми друзьями держал оборону крепости. Потом снова взрыв бомбы, тяжёлая контузия, беспамятство. Пришёл в себя 27 июня утром уже в плену. О том, как наши бойцы и командиры попадали в плен, рассказ впереди. Случай Санина один из самых типичных.

Плен

Сперва он вместе с другими военнопленными попал в Бялу Подляску, что в нескольких километрах от цитадели. До войны наши укрепляли там оборонительные сооружения, которые негодились. Немцы устроили в этом польском местечке лагерь и в нём отделили солдат от офицеров. Затем Санин оказался в офицерском лагере XIII-Д под Хаммельсбургом, где

содержалось до двадцати тысяч советских командиров, в том числе и наш земляк генерал Д.М. Карбышев. Тут отсылаю читателя к воспоминаниям Санина в журнале «Сибирские огни» (1981, № 5). В сорок третьем году лагерь был расформирован; чуть позже судьба свела Санина и Карбышева ещё раз в огромном международном лагере Лангвассер под Нюрнбергом. А в Ноймаркте А.С. работал на велосипедном заводе, разбирая велодетали, уцелевшие после бомбёжек.

– Расскажите, как вас освободили, – прошу я.

– В пятом по счёту лагере Фелла, это севернее Нюрнберга, нас в апреле сорок пятого года насчитывалось около шестисот человек. И вот настал день, всех нас выгнали за ворота лагеря и погнали по шоссе на дороге, ничего нам не говорили. Получилось так, что наши полковники договорились с конвоем, чтобы нас не трогали, а вели-то на расстрел. Ночью в каком-то сарае переночевали, и таким образом наша колонна выбилась из графика на целые сутки. Тут нас освободили чернокожие негры.

А.С. снова вспоминает Хаммельсбург, говорит, что немцы держали в нём, кроме Карбышева, пятьдесят наших генералов. Там же ему довелось видеть сына Сталина Якова Джугашвили.

После освобождения его препровождают в г. Бауцен на госпроверку. Проверяли недолго, так как репутация лейтенанта Санина в плену была достойной. Его и ещё несколько офицеров взяли дежурными по штабу в контрразведку СМЕРШ, и до ноября сорок пятого шла повторная госпроверка. В ноябре Санина демобилизовали. Он вернулся в Омск и устроился на работу в Управление речного пароходства.

Дым Отечества

К фронтовикам я всегда относился с особым уважением. Ещё помню в начале пятидесятых безногих инвалидов на самодельных тележках с колёсиками из подшипников. Их можно было увидеть на Железном мосту через Омку, на Центральном базаре – везде, где многолюдно. Они безмолвно ждали

подавания. Некоторые играли на гармошке. Потом, словно по команде, куда-то исчезли. Так мне запомнилось.

Послевоенное житьё-бытьё фронтовиков складывалось по-разному. Кого миновала участь военнопленного или же советского зэка, тот ничем не выделялся среди остальных граждан, разве что орденскими колодками на пиджаках и гимнастёрках. «Ветеран ВОВ» – этого неудобоваримого словосочетания в пору моего детства не существовало. Девятое мая ещё не считалось праздником государственного масштаба. «Время было глухое, нервное, опасное», – вспоминал поэт Борис Слуцкий, бывший политработник Красной армии, инвалид войны. Как документальное свидетельство современника воспринимаются его горестные строчки:

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлёбываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Защитник Брестской крепости по возвращении в родной город в полной мере почувствовал, что такое дым отечества.

– До пятьдесят шестого года я по три месяца не мог устроиться на постоянную работу, за мной следили вплоть до пятидесяти пятого, на меня смотрели как на врага народа. «Вы у меня в руках, – говорил замначальника МГБ Быстров, – я могу с вами сделать всё». А вскоре после окончания войны одному следователю дали задание меня посадить. Тогда в листе по учёту кадров значился пункт «Находились ли в плену у немцев?». Я писал, что был, я не мог написать неправду.

А.С. вспомнил, как в пятидесятом году был под судом. В то время он работал в пароходстве, а у водников свой трибунал, и там рассматривалось какое-то дело кассирши, она жульничала с билетами. Чтобы скомпрометировать фронтовика и всё-

таким посадить, гэбэшники пытались приписать Санину к этой грязной истории. Известный приём, к счастью, не сработал.

Понятно, что те послевоенные госпроверки – дело сложное, поэтому следователям надлежало быть предельно внимательными к судьбам людей. Далеко не все проявляли гуманность, и, как правильно пишет автор статьи о генерале Карбышеве, хорошим отзывам о человеке «была установка не доверять»¹.

Однажды А.С. встретил на улице Сергея Залыгина, с которым служил в Ишиме в одной роте. Обрадованный, он бросился к бывшему сослуживцу в порыве нахлынувших дружеских чувств. Сказал в надежде на понимание, что сейчас находится в опале, что ему тяжело. Залыгин замялся, не зная, как ответить, и поспешил прервать неожиданную встречу. Почему? Силён был обыкновенный страх, да и война не опалила писателя своим беспощадным огнём. Вспомнив этот эпизод, А.С. закончил так:

– Когда меня реабилитировали, я написал Залыгину письмо: «Ты, Сергей, можешь не бояться, я не враг, но ту нашу встречу простить тебе не могу, хотя зла не держу». Ни ответа, ни привет а я, конечно, от него не получил.

«Он спас нам жизнь»

Я сказал ему, что помню его рассказ тридцатилетней давности у нас дома. А.С. улыбнулся, заметив, что в пятьдесят шестом году послал свою тетрадь воспоминаний Сергею Смирнову. Написал за две ночи, излил душу.

О С.С. Смирнове разговор особый, в основном в расчёте на молодое поколение, не читавшее «Брестскую крепость», не знакомое с книгами известного писателя-документалиста. Совсем скоро у него грядёт почтенная юбилейная дата – сто лет со дня рождения. Участник войны, армейский журналист, Смирнов в начале пятидесятых был заместителем у Твар-

¹ Решин Л. Непокорённый // Красная звезда. 1996. 16 августа. № 187.

довского в «Новом мире», потом главным редактором «Литературной газеты», секретарём правления Союза писателей СССР. Интерес к «смутной легенде» о защитниках Брестской крепости побудил Смирнова к созданию пьесы и очерка на тему обороны цитадели, но материал оказался настолько захватывающим, что у него явилась мысль превратить легенду в правдивое повествование. Начались поиски оставшихся в живых участников героической обороны. Летом 1956 года отмечалось пятнадцатилетие начала войны, а так как крепость на западной границе первой приняла на себя удары 45-й немецкой дивизии, то героев-брестцев торжественно встречали в московском Центральном доме Советской армии. Благодаря неукротимой энергии Смирнова страна узнала о подвигах майора Гаврилова, о храбром мальчике музыкантского взвода Пете Клыпе, полковом комсоре Самвеле Матевосяне и других красноармейцах. 21 июля Смирнов устроил встречу с героями в редакции «Комсомольской правды». В тот день газета дала на первой полосе общую фотографию защитников крепости, в сопроводительном тексте отмечалось: «Считалось, что никого из защитников крепости не осталось в живых и что все они погибли в боях.

Однако в последнее время удалось разыскать в разных городах и сёлах Советского Союза около 50 участников Брестской обороны, которые после войны вернулись из гитлеровского плена. Среди них несколько командиров, руководивших отдельными участками обороны крепости».

23 июля Смирнов впервые выступил с рассказом о Бресте по Всесоюзному радио, московское телевидение транслировало передачу с участием почётных гостей. Осенью (сентябрь-октябрь 1956 г.) писатель продолжил свои выступления на радио, цикл передач назывался «В поисках героев Брестской крепости». Эти тексты легли в основу публикаций журнала «Юность» (1957, № 1–2) и книжки под тем же названием (1959). Автор уведомлял в предисловии, что тексты «значительно переработаны и дополнены новым материалом,

собранным за последние месяцы». Так начиналась уникальная исследовательская работа, вызвавшая колоссальный отклик у советских людей. В адрес Смирнова стали поступать письма из разных уголков нашей страны. Раны войны ещё кровоточили, корреспонденты писателя обращались к нему с просьбами, воспоминаниями, делились сокровенным. Смирнов говорил впоследствии, что был буквально завален «лавинной писем», полученных после цикла радиопередач о Брестской крепости и после нового цикла «Рассказы о героизме», — он вёл их в течение трёх лет, до 1960 года. Летом 1965-го, по данным Московского почтамта, на имя Смирнова поступало по две тысячи писем в день, «затем число их перевалило за миллион». Несколько лет Сергей Сергеевич вёл на телевидении альманах «Подвиг» о тех, кто подарил нам Победу. Он говорил: «С телевидения мне привозили письма автобусами. Их вносили мешками, а я складывал эти мешки на чердаке своей дачи». Страх писателя потерять бесценный материал привёл к тому, что на ЦТ создали группу из девяти человек, которая изучала письма целый год.

Страстное желание помочь людям, добыть правду руководило работой писателя. В 1961 году вышла книга «Герои Брестской крепости» с указанием на «дополненное» издание. Через три года появилось «расширенное» издание, выдвинутое редакцией «Нового мира» (я думаю, фактически Твардовским) на соискание Ленинской премии. Чтобы сегодняшний читатель понял огромную значимость литературного события, приведу редакционную оценку книги Смирнова почти полностью. В ней тоже есть аромат эпохи шестидесятых годов. Почувствовать его очень важно.

«Большая работа С.С. Смирнова "Брестская крепость" привлекла внимание миллионов советских читателей задолго до того, когда она вышла в 1964 году в полном объёме. Публикуя отдельные главы из этой работы, писатель познакомил нас с ярчайшей страницей истории Великой Отечественной войны. Сейчас мы не можем представить историю

войны без этой страницы, а между тем десять лет назад мы не имели о ней никакого представления. Честь первооткрытия здесь целиком принадлежит С.С. Смирнову. Проявив незаурядную энергию, он в течение десяти лет собирал материалы о героической обороне Брестской крепости. В процессе этой напряжённой работы С.С. Смирнову удалось прояснить многие тёмные места истории обороны. Благодаря ему неизвестные герои стали известными всему народу, а в ряде случаев была восстановлена и их гражданская честь. Без всякого преувеличения эта благородная работа не имеет прецедента в нашей литературе.

Итогом долгих поисков писателя явилась его книга "Брестская крепость" – строго документальное военно-историческое исследование обороны крепости, сочетаемое с изображением судеб ее защитников...»¹

В следующем году Смирнов получил высокую правительственную награду. То был не просто успех, а небывалый, единственный в своём роде триумф советского писателя, всей нашей литературы в целом.

Важной составляющей триумфа стала драматическая тема военнопленных, к участи которых правительство после смерти Сталина начало постепенно менять отношение. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека», фильм Г. Чухрая «Чистое небо» выражали, каждый по-своему, боль страны-победительницы. Мало-помалу в сознании общества укреплялась мысль о том, что вина за поражения Красной армии в начале войны лежит на высшем политическом руководстве и лично на Сталине.

Роль Смирнова, значение сделанного им трудно переоценить. Многие из героев его книги прошли испытание пленом, кто-то получил наказание в советских концлагерях по клеветническим обвинениям.

Писатель принял участие в судьбах людей, проявивших

¹ Новый мир. 1964. № 9. С. 287.

мужество в первые тяжелейшие дни войны. Одним он давал рекомендацию в партию, для других хлопотал о правительственных наградах. И всем защитникам крепости помог вернуть доброе имя.

– Сергей Сергеевич, конечно, брал на веру свежие воспоминания про оборону, – сказал А.С., – но то, что он написал, – отлично, ничего не скажешь. Недаром ему присуждена Ленинская премия. Да, Сергей Сергеевич – молодец. Он же всем нам спас жизнь.

Плен... Вправе ли мы, сегодняшние, требовать от людей (на радость поэту) быть железными, как гвозди? Вот пишет один историк, что на некоторых участках обороны «сотнями сдавались в плен», хотя на соседних не сдался никто. Как рассудить? Разве сбросишь с чаши весов тяжесть непреодолимых обстоятельств, заставлявших бойцов поднимать руки перед врагом? Серьезные, нелёгкие раздумья пробуждает доступная теперь статистика военных историков. Заимствую цифры (только цифры!) из публикации Василия Андреева «Все круги ада. Советские военнопленные во Второй мировой войне». Он пишет: «В минско-белостокском "котле" (июнь-июль 1941-го) было захвачено в плен 328 тыс. советских бойцов и командиров, в смоленском (июль-август 1941-го) – 310 тыс., под Уманью (август 1941 г.) попало в плен 103 тыс. человек, под Киевом (сентябрь 1941 г.) – 665 тыс., под Вязьмой (октябрь 1941 г.) – 663 тыс., под Керчью (май 1942 г.) – 150 тыс., под Харьковом (тогда же) – 240 тыс. человек. Всего же в результате крупных окружений советских войск в 1941–1942 гг. в немецком плену оказалось 2 285 000 человек»¹.

Автор публикации оценивает сложившееся положение как трагедию. Если смотреть не из Кремля, а из окопа, то можно назвать это и катастрофой.

Но книга Смирнова о тех, кто стоял насмерть. Кто не бежал. Не предал. Важно было рассказать о подвиге народа.

¹ Независимая газета. 1999. 7 мая.

Писатель первым сказал, что брестцы совершили подвиг. Они же, оставшиеся в живых, только усмехались. О, эта усмешка русского человека, вечная загадка для наших писателей! Кто способен её разгадать?..

Славу не делят

Свою тетрадку с воспоминаниями Санин отправил Смирнову в конце июля – начале августа пятьдесят шестого года. И уже 6 сентября имя нашего земляка читатели «Комсомольской правды» узнали из очерка «Новые имена, новые факты». Автор сообщал, что Санин «командовал обороной того участка крепости, где сражался Петя Клыпа. Сейчас А.С. Санин – преподаватель одной из школ Омска. Вот что он пишет...»

Я опускаю цитату из письма, которая есть во всех изданиях «Брестской крепости». Важнее другое: в письме омича, сообщает Смирнов, содержатся интересные сведения о генерале Карбышеве. Земляки познакомились друг с другом в фашистском лагере Хаммельсбург. Эта информация действительно была новой.

В жизни А.С. произошли желанные перемены. В Доме офицеров ему торжественно вручили орден Отечественной войны 1-й степени и вскоре избрали депутатом горсовета. В 66-й школе разрешили преподавать черчение и рисование, затем назначили директором 12-й школы. Там он проработал несколько лет. Его стали приглашать на разные патриотические встречи с рассказами о героической обороне. «Он защищал Брестскую крепость» – так озаглавлена корреспонденция в «Омской правде» за 23 февраля 1957 года.

Когда А.С. рассказывал о Смирнове, я спросил, есть ли у него какие-либо презенты от писателя. И тогда он протянул мне краткий очерк героической обороны 1941 года, изданный Министерством обороны СССР в серии «Библиотека солдата и матроса». На титульном листе дарственная надпись: «Защитнику Брестской крепости Александру Степановичу Санину от автора. 13.10.57».

– А письма? – не унимался я.

– Есть одно. Возможно, было что-то ещё, не помню.

Беру письмо. На небольшом листке читаю короткое извещение о скором приезде в Омск и запланированной встрече.

«Дорогой Александр Степанович!

Во-первых, поздравляю Вас с уже прошедшим 60-летием и со всеми другими успехами. По поводу вопроса, поднятого Вами в последнем письме, не пишу ничего, так как надеюсь вскоре поговорить с Вами лично. 20 июля вылетаю в Сибирь и между 1 и 10 августа собираюсь быть в Омске. О моём приезде Вы сможете узнать в Обкоме партии, и, кроме того, я постараюсь дать Вам знать, когда приеду.

9.7.70. Пока, до встречи, Ваш С. Смирнов»

Смирнов действительно появился в городе, приехав из Тюмени в конце июля для сбора материала к очередным выпускам телеальманаха «Подвиг». 30-го числа в конференц-зале Дома печати состоялась встреча писателя с представителями общественности, в основном с газетчиками. Я был на этой конференции и заметил, что среди присутствующих нет Санина. Что такое? А.С. пояснил: он рассчитывал на август, а в июле где-то отдыхал с семьёй. Жаль, конечно, такая не-встреча...

Предчувствуя интригу в сюжете, я спросил, какой вопрос они со Смирновым собирались обсудить.

– О Потапове, – прозвучал короткий ответ.

Здесь приходится сделать экскурс в историю вопроса. В книге «Брестская крепость» автор поставил перед собой труднейшую задачу – реконструировать как можно точнее весь ход обороны. Он находил и систематизировал массу фактов, опираясь на письма, встречаясь с живыми ветеранами, делая запросы в различные госучреждения. Из воспоминаний бойцов складывалась постепенно общая картина. Многое уточнялось, перепроверялось, в текст рождавшейся книги ав-

тор вносил необходимые коррективы. Творческая история документального повествования удивительна.

В числе первых живых героев обороны, найденных Смирновым, особняком стоит трубач музыкантского взвода Петя Клыпа. Образ четырнадцатилетнего мальчика увлёк писателя, высоко оценившего не только смелость, но и память брестского Гавроша. С его слов в публикациях Смирнова появился старший лейтенант Потапов, возглавивший оборону на том участке, где воевал Петя. Из публикации в журнале «Юность»: «Когда у бойцов 333-го полка подошли к концу боеприпасы, старший лейтенант Потапов предпринял отчаянную попытку прорыва вражеского кольца. Было решено прорываться в сторону города».

В книге рассказано подробнее.

«Именно Клыпа помог мне наконец установить фамилию старшего лейтенанта, который возглавил оборону на участке 333-го полка. Об этом смелом и решительном командире рассказывали мне и Игнатюк, и Сачковская, но фамилию его они забыли. Петя же часто находился при нём в качестве связного и хорошо помнил, что фамилия старшего лейтенанта была Потапов.

Он не знал ни имени-отчества, ни должности, какую занимал этот командир. Но, по его словам, Потапов имел одну характерную примету: на лице его, около виска, был старый шрам. Однажды Петя спросил его, где он получил эту рану, и Потапов, усмехнувшись, ответил: "Кулацкая метка".

Он рассказал мальчику, что в годы коллективизации работал в деревне и был одним из организаторов первых колхозов. Как-то раз кулаки подстерегли его, задумав расправиться с ним. Этот шрам – след раны».

Получив тетрадку с воспоминаниями Санина, писатель узнал, что обороной в районе Тереспольских ворот руководил не один офицер-пограничник. Да, Клыпа называл Потапова, Санин же хорошо помнил только старшего лейтенанта Андрея Кижеватова, «удивительного человека», как он выразился.

Кижеватов погиб. Санин выжил. Но с Потаповым всё было неясно. Другой участник обороны, А. Бессонов, называет его командиром роты и пишет про «отряд Потапова», оборонявший казармы 333-го стрелкового полка. По воспоминаниям А. Петлицкого, написанным скорее всего под влиянием разысканий Смирнова, все трое – Санин, Потапов и Кижеватов – составляли штаб обороны в подвалах этого полка. Дан портрет Потапова: «Это был человек средних лет, невысокого роста, черноволосый, с орденом Ленина или Красного Знамени, точно не помню, на груди».

«Мы не знаем почти ничего о его судьбе. Известно лишь, что Потапов не погиб в крепости, а попал в плен – Петя Клыпа встретил его однажды в Бяла Подляске. Позже ему рассказывали, что Потапов якобы был организатором массового побега из этого лагеря. Участь старшего лейтенанта Потапова остаётся пока тайной», – читаем в книге Смирнова.

Если не вести ежедневные записи, то память человека – штука коварная. К моменту нападения на цитадель не все защитники успели узнать друг друга. Представим: три стрелковых полка, конвойный батальон НКВД, отряд пограничников – это что-то около шести-семи тысяч человек. И новую боевую единицу, каким был в крепости ПНШ-2 Санин, вряд ли даже знали по фамилии. Как звали мальчика-трубача, А.С. узнал лишь из радиопередач Смирнова.

Возвращаясь к нашему разговору. А.С. говорит:

– В этом письме моём, о котором упоминает Сергей Сергеевич, я поднял вопрос о Потапове, потому что Петя Клыпа назвал фамилию – Потапов. А всех лейтенантов на своём участке я знал. Клыпа признался мне, что Смирнов требовал назвать фамилию, и тогда он сказал о командире, фамилию которого не знал. Но Петя знал, что Санин не Потапов, о нём, вероятно, слышал. Потапов тоже был помначштаба, жил в городе и там погиб либо при бомбёжке, либо при защите Брестского вокзала. Всё, что я делал в те дни, осталось под фамилией Потапов. Сергей Сергеевич уговаривал меня,

чтобы я не протестовал. «Не будем делить славу», – говорил он, и я дал ему согласие.

Признание А.С. не проясняло тайны Потапова. Версия его гибели в Бресте, а не в цитадели, шла вразрез с рассказами Клыпы в изложении Смирнова. Мне были понятны чувства А.С., в нём жила если не обида, то по крайней мере мысль о недостоверности реальных исторических событий, участником которых он был. Но я, кажется, понимал и автора книги. Вероятно, Смирнов не считал возможным менять сложившуюся конструкцию. Книга выдержала уже несколько изданий, фигура Потапова обрела легендарные очертания. Сергей Сергеевич много сделал для превращения брестской легенды в быль и в то же время сам стоял у истоков нового мифотворчества. Да, так бывает, когда материал сложен и противоречив. К чести писателя надо сказать, что он признавал возможность частных ошибок в своей работе, будучи озабочен главным – рассказом о Подвиге.

III

В историю Великой Отечественной войны Брестская крепость вошла как потрясающий символ мужества наших людей. Книга Смирнова – общий памятник им. Не сомневаюсь, что писатель понимал: вся правда о легендарной обороне будет в дальнейшем предметом научных исследований военных историков. И такие работы появились. Пишут по-разному. Снимают фильмы, документальные и художественные. Из печатной продукции достойна внимания книга Ростислава Алиева «Штурм Брестской крепости» (2010), сборник воспоминаний и документов «Брестская крепость» под редакцией того же автора (2010). Свою лепту в анализ событий 41-го года внёс и В. Суворов, испортивший, к сожалению, некоторые здравые рассуждения бестактными эпатажными обобщениями. Мне близка позиция историка И. Гусева, он пишет сдержанно и без пущих эффектов: «Написанные через много лет, воспоминания

ветеранов пестрят неточностями. Кого-то подводит память, что-то приукрашено, какие-то факты навязаны свыше в угоду официальной версии событий, зачастую более героической, но менее человеческой. Так и случилось, что среди мемориальных досок и скульптур мемориала (на территории крепости. – С.П.) не нашлось памятного знака для последних защитников северной полубашни кольцевой казармы цитадели. Экскурсоводы могут часами рассказывать о мужестве защитников участков, где сотнями сдавались в плен, но им нечего рассказать о местах, где в плен не сдался никто. Такова реальность».

А стоит ли удивляться? – ведь мёртвые всегда безмолвны.

Отдельная тема, требующая разработки, – огромная почта Смирнова. Значительную часть писем писатель передал в музей обороны Брестской крепости, несколько десятков тысяч в РГАЛИ, что-то, возможно, осталось на радио и телевидении. Изучено ли это бесценное наследие? Есть ли описи фондов? Доступны ли эти материалы для историков? Критик Андрей Турков когда-то обмолвился, что груды писем, отправленных Смирнову, «всё ещё разбираются». Я уверен: в этой громадной массе не затерялись и письма Санина. Разыскать их – задача будущих омских краеведов.

Я уходил от Александра Степановича, когда уже начало темнеть. Прощаясь, он подарил мне машинописную копию своих воспоминаний, опубликованных в «Сибирских огнях». Мне было понятно, что наша встреча носила ознакомительный характер, за ней обязательно последуют другие. Вот я получше подготовлюсь. Вот сделаю набросок будущего сценария. Обсудим. Договоримся. Всё впереди. Но этого не произошло. Замысел телефильма по каким-то неведомым причинам не оказался востребованным, меня захлестнули другие дела. Позвонить Санину? Ну, позвоню и что скажу? Стыдно. Может быть, потом, позже. Каждый раз я откладывал звонок на «потом». Теперь жалею, повторяя старую пионерскую заповедь: никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Никогда!

ВИКТОР УТКОВ



I

С Виктором Григорьевичем Утковым я познакомился в московском Доме архитекторов на очередном вечере клуба книголюбов. Накануне в телефонном разговоре Утков сказал, что будет выступать и что там ожидается кто-то из старейших библиофилов столицы, чуть ли не сам М. Чуванов. По окончании вечера я обратился к Уткову с просьбой обсудить волновавшие меня проблемы творческого наследия Леонида Мартынова, другом которого он был ещё с довоенных омских времён. Виктор Григорьевич предложил встретиться в квартире поэта на Ломоносовском, заметив, что знакомство с вдовой Леонида Николаевича Г.А. Суховой весьма желательно.

В назначенное время я пришёл. Радужные хозяйки дома и внимательная приветливость Уткова располагали к откровенной беседе, украшенной чаепитием и неизбежными земляческими мотивами. Я объяснил цель своего визита. Со дня кончины Мартынова прошло уже более года, и омичам теперь пора подумать, как достойно почтить его память на родной земле. Лучшая форма – Мартыновские чтения, литературный праздник, имеющий перспективу стать в Омске традиционным.

Мои собеседники горячо поддержали эту идею. Мы, помнится, даже начали обговаривать некоторые детали будущего проекта, предварительно условившись, что целесообразно не ждать круглой даты (это 1985 год), а провести чтения в ближайшие два года, чтобы к 80-летию Мартынова они воспринимались уже как вполне естественное дело омской общественности. Так и получилось: впервые праздник в честь поэта состоялся в мае 1983 года.

В тот вечер для меня сделали экскурсию по двухкомнатной квартире, где, кажется, почти ничего не изменилось с тех пор, как я, ещё студентом, заявился к Мартыновым. По-прежнему восхищала главная достопримечательность дома – огромная, бережно сохранённая библиотека Леонида Николаевича. Книги на стеллажах вдоль двух стен едва не касались потолка...

Зашли в маленькую комнату Нины Анатольевны. Всё скромно. Да они и в Омске жили так же, если не сказать – бедновато, особенно по нынешним понятиям. Галина Алексеевна, врач по профессии, вспоминала историю болезни четы Мартыновых, их последние дни. Виктор Григорьевич что-то дополнял, рассказывал о том, как хлопотал в Союзе писателей об организации похорон друга. Потом мы снова вернулись к теме чтений. И вдруг неожиданно он сказал:

– Я верю, что в Омске обязательно поставят памятник Леониду!

Это прозвучало трогательно и смело – шёл 1981 год. Кто помнит те времена, не удивится. Я тоже не сомневался насчёт памятника, но подумал тогда: ну и наивные же мы. Иное дело наши чиновники, тяжёлые на подъём. В городе и сегодня не нашлось места для бронзовой фигуры автора «Воздушных фрегатов», лучшей мемуарной прозы об Омске XX столетия.

Так началась наша дружба, завязалась переписка. Я чувствовал со стороны Виктора Григорьевича заботливое участие старшего опытного товарища в разработке

творческой биографии Мартынова. Он имел на это право. Ему хотелось, чтобы я написал книгу о молодом Мартынове. Все мои публикации и начинания он одобрял, но, когда рукопись была наконец готова, Виктор Григорьевич откликнулся (для издательства) суровой внутренней рецензией. Дело прошлое: я был задет, что-то ему ответил. Он спокойно увещевал меня, советовал не горячиться и внять его рекомендациям. Обычная литературно-издательская практика. Однако замечу, что каждый из нас отстаивал свою правду и свой взгляд на проблему научной биографии поэта. Как друг Мартынова Виктор Григорьевич был пристрастен и проявлял осторожность, обусловленную объективными причинами. Наши разногласия носили методологический характер. Мы, например, по-разному отнеслись к текстологическому аспекту ранней лирики Мартынова. Я считал необходимым брать – если требовал контекст – первые редакции стихотворений, часто несовершенных, или даже проходные тексты, навсегда оставшиеся в газетно-журнальном варианте. Знакомый книгоиздательский жанр советского времени под названием «очерк творчества» редко бывал правдивым. Мне хотелось правды. И теперь, спустя годы, я убеждён, что объективная картина эволюции поэта не может быть верно понятой без юношеских опытов Мартынова. А Виктор Григорьевич думал иначе.

Сомерсет Моэм где-то говорит, что каждый литератор считает, что пишет так, как надо, не то стал бы писать по-другому. Сказано точно и не лишено остроумия. В моём случае шутка идеально соответствует индивидуальным авторским особенностям и поставленной исследовательской задаче.

К счастью, литературоведческие разногласия не омрачили наших дружеских чувств. Я быстро остыл, мы продолжали обмениваться письмами. Виктор Григорьевич дарил мне свои книги, помогал советами, всегда откликался на

любые просьбы. Он был уникальным знатоком сибирской старины, вообще сибирской истории, а также книжного дела. Для омского краеведения работы Уткова бесценны.

Да, Виктор Григорьевич любил книги, не случайно принимал деятельное участие в редколлегии «Альманаха библиофила». Мне и не только мне предлагал сотрудничать с этим изданием. Удивительными были его отзывчивость на всякую творческую инициативу, желание поддержать, помочь, похлопотать, если надо. Он дорожил связью с омичами: переписывался с П. Ребриным, И. Коровкиным, А. Лейфером. Память о городе своей молодости жила в нём и на склоне лет, я думаю, давала импульсы к творческой активности. В дни чтений 85-го года мы с ним и В.В. Дементьевым колесили по старому Омску, главным образом, в Казачьем форштадте и в центральной исторической части города. Виктор Григорьевич охотно показывал мартиновские места, по ходу комментировал, вспоминал. Ещё стояли крепкие деревянные дома на бывшей Лагерной улице, там же и дом с привидениями, послуживший поэту поводом для одноимённого стихотворения. Долго задержались во дворе дома на улице Красных Зорь, где жила семья Мартиновых.

Казалось, он неутомим, и потому многое успевает. Я восхищался его энергией, юношеской привычкой бегать на лыжах, ездить в командировки. И когда зимой 1988 года пришла горестная весть о кончине Виктора Григорьевича, тихая печаль смешалась во мне с чувством глубокого внутреннего протеста: не может быть!

Говорили, что ему стало плохо на лестнице Ленинской библиотеки. Как это символично: будто человек пришёл прощаться с книгами, которым посвятил всю свою жизнь. Он умер в больнице в возрасте семидесяти шести лет.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ



I

То, что взволновало в юности, остаётся с нами навсегда. Мы, конечно, меняемся, вкусы формируются под влиянием приходящих обстоятельств, но первая любовь не поддаётся коррозии. С детства я любил Маяковского, с восторгом листал зелёный двухтомник Есенина. Потом, в студенчестве, – Ахматова и Цветаева. Но кто такой Павел Васильев? Тут возникает картинка полувековой давности: в газетном киоске на Герцена летом я покупаю свежий номер «Молодого сибиряка». И что я вижу? Едва ли не половину обычно скромной площади (случай уникальный!) занимает подборка материалов «Сложная судьба большого поэта». С фотографии глядел симпатичный парень, публиковались малоизвестные стихи, «врез» начинался так: «Мы во многом виноваты перед ним, поэтом редкого по самобытности таланта, оставившим людям стихи прямо-таки бешеной ярости, потрясающего чувства жизни». Через десять лет один московский критик, сочувственно цитируя омичей, заметил, что вот, мол, «комсомольцы города Омска пишут в свою молодёжную газету» и т. д. Тех, кого называли комсомольцами для пущей важности, я хорошо знал, то были штатные газетчики Виталий Попов и Алексей Пахомов. Из коротенькой публикации «Последняя встреча» читатели-комсомольцы

узнали о существовании младшего брата известного поэта. Брат жил в Омске. Подписано было просто: В. Васильев.

На очередном творческом семинаре молодых, году в шестьдесят третьем, я впервые увидел Виктора Николаевича Васильева. Ему за сорок. Поджарый, крепко сбитый, выглядит моложе своих лет и очень естественно вписывается в круг наших «семинаристов», собравшихся в коридоре старой «Омской правды». В тот день я краем уха уловил, как он, горячась, рассказывал кому-то о трагической судьбе брата. На Лубянке Павла жестоко истязали – перебили позвоночник, выкололи глаза. Ужасно. Будучи под впечатлением от услышанного, я всё же сомневался: верить или не верить? Откуда такая осведомлённость? В ту пору подобная информация была ещё наглухо закрыта, абсолютно недоступна. Про некогда большое семейство Васильевых помнили в городе уже немногие.

Зная, что Виктор Николаевич написал повесть о брате, я, однако, не искал с ним встречи до тех пор, пока Омское телевидение не приступило к работе над документальным фильмом «Плуг воспоминаний». Как же без Васильева? И я отправился к нему. Он сразу согласился участвовать в нашей затее. В уютной, со вкусом обставленной комнате, из окон которой виднелись краны речного порта, Иртыш и часть города, получившая у омичей прозвание Левый берег, слушал первый рассказ о семье Васильевых и старшем брате – Павле.

Виктор Николаевич владел искусством рассказчика. О ком бы ни шла речь – об отце, матери или братьях (их было четверо), чувствовалось, что он гордится васильевской породой. Николай Корнилович, мужчина семи пудов, был крут с сыновьями, особенно с Павлом. Однажды в приступе родительского гнева запустил в него золотой табакеркой, не попал – и только щепки от дверного косяка разлетелись в разные стороны. О мотивах, послуживших причиной ареста отца, Виктор Николаевич говорил: «Отца взяли за то, что нашли стихи Павла». Так он думал. Правда, причины были несколько иные, о них стало известно позднее (мы беседовали летом 1981 года).

Образ Павла вырисовывался в приподнятых тонах, хотя явно хулиганские его выходки не замалчивались. Вот одна из них: Павел якобы попросил у Алексея Толстого взаймы тысячу рублей, тот не дал. Ах, так! Ну и сыпанул в глаза графа табаком. Другая байка: будто бы М. Шолохову заехал телефонной трубкой по голове. Скорее всего это мифы, созданные, вероятно, не без участия самого Павла. Но на то и миф, чтобы нельзя было установить авторство, проверить подлинность сюжета, похожего на правду. Совсем в духе О'Генри или Д. Лондона выглядели у Виктора Николаевича авантюрные приключения о том, как Павел вместе со своим дружкой, тоже поэтом, Николаем Титовым «контрабастили» в Сибири и на Дальнем Востоке. Будто бы в Бодайбо на одном из приисков парни украли два килограмма золота и рванули в Благовещенск, где купили... бани и, разумеется, все деньги пропили. За ними началась погоня, но по льдинам Витима им удалось уйти от преследования. Были и ещё приключения. Заканчивая этот детектив, Виктор Николаевич сказал, что в тот период родилась хвастливая фраза: «Где Васильев, там живому не бывать». Не сам ли Павел сочинил о себе это присловье в духе былинного эпоса о богатырях земли русской? Очень может быть.

Когда начались съёмки фильма, Виктор Николаевич проявил завидное терпение и дисциплинированность (дело-то муторное). С его подсказками мы сняли многие васильевские места Омска. Он самозабвенно читал на память большие отрывки из поэм Павла и отдельные стихотворения. Перед камерой держался свободно, будто всю жизнь только и снимался, как заправский актёр. Я внимательно присматривался к нему: ярчайшая фигура, не человек, а энергоноситель. Брата своего числил первым поэтом современной России.

Мы не то чтобы подружились, но стали встречаться чаще. Несколько раз он приходил к нам домой. Обычно сидели на кухне. Моя жена быстро собирала на стол – чем Бог послал. Случалось и горячительное. Виктор Николаевич рассказы-

вал о себе, о родителях и между прочим о том, как в середине семидесятых он появился в московский ЦДЛ (думаю, что в подпитии) и постарался напомнить испуганным посетителям ресторана, кто таков был Павел Васильев.

О довоенном прошлом рассказывал, отчасти повторяя то, что уже написал в повести. Не скрывал: многого не знает или не помнит. На мой вопрос, где похоронена мать Глафира Матвеевна, отвечал не очень уверенно, что в Горьковском районе Омской области. Могила затерялась. Дело в том, что после ареста Николая Корниловича в ноябре 1939-го, семью депортировали из Омска. Судьбы людей не стоили и гроша.

В одной из множества своих папок нашёл текст расшифрованной радиопередачи о Васильеве, подготовленной Инной Антоновной Шпаковской. Я принимал участие в передаче, чего, впрочем, совершенно не помню. Как и другого участника – омского поэта Владимира Макарова. Дата выхода в эфир отсутствует; по-видимому, это конец восьмидесятых. Позволю себе использовать фрагменты текста, максимально и сознательно сохраняя стилистику устной разговорной речи. Кстати, так поступили издатели, перенося с магнитофонных плёнок В. Дувакина его беседы с теми, кто знал Ахматову.

Ш. – Вы когда узнали о трагедии, случившейся с Павлом?

В. – Это было в тридцать седьмом году, у нас знакомая одна, Трофимова, работала в библиотеке Верховного Совета, она и сообщила. Доскональных подробностей долго мы не могли узнать, это было в те времена невозможно сделать почти.

Ш. – Эта судьба затронула всю вашу семью?

В. – Да, я работал преподавателем истории в Сорокино, около Ишима. В то время Омская область включала в себя и Тюменскую. Меня вызвал директор и говорит: «Вот, райком партии дал указание снять с вас новую историю». 1939-й это был. Потом сняли с меня среднюю историю, а потом вообще всю историю и оставили мне только географию, и так оно продолжалось после того, как я в Омск приехал.

Ш. – Началась война. Как судьба ваша складывалась?

В. – В сорок первом году меня не взяли, потому что бронь была на преподавателей, а в июне сорок второго меня взяли на фронт. Я окончил в Кунцево, под Москвой, полковую школу младшего командного состава и в чине старшего сержанта прибыл на Сталинградский фронт в составе 227-го дивизиона, резерва главного командования. А потом 57-я армия была, и я участвовал в сражении под Сталинградом, служил в войсках артиллерийских. Зенитные орудия. Нам приходилось выкатываться на открытую позицию, стрелять по танкам, по самолётам.

Ш. – Сколько вы пробыли на фронте?

В. – На фронте я пробыл до августа сорок третьего года.

Ш. – Вы участвовали в Сталинградской битве и на Курской дуге?

В. – Да, и в боях за Харьков... В один хороший день мы были на позиции, охраняли дороги, мосты от воздушных налётов, и мы не окапывались, а жили в палатках. Я как раз прилёг и слышу: «Васильев, подымайтесь!». Стоят два офицера контрразведки: «Ты арестован, десять шагов вперёд!». Сорвали звёздочку, погоны, медаль за боевые заслуги. И повели. А потом началось... всякие допросы...

Ш. – Какое обвинение вам предъявили?

В. – Мне предъявили обвинение в антисоветской пропаганде, неправильных данных, мною даваемых с прибора, а я был командиром дальномерного отделения и давал расстояния до самолётов. Мне говорят, что вы неправильно давали, поэтому батарея не сбивала самолёты...

Ш. – У них были какие-то основания?

В. – Никаких оснований. Кроме того, немцы сбрасывали много. Рама двухфюзеляжная появлялась каждый день на позициях и сбрасывала целые тюки листовок. И мне приписали ещё чтение немецких листовок, следовательно – антисоветская пропаганда, статья 58, пункт 10, часть 2. Антисоветская пропаганда военным лицом, а в 58-й было четырнадцать пунктов.

Ш. – Дали вам сколько?

В. – Мне дали десять лет, три года лишения избирательных прав, лишения голоса и пять лет высылки...

Здесь прерву беседу, чтобы продолжить тему, вспоминая разговор с Виктором Николаевичем у нас на кухне ещё до того, как вышла радиопередача. Я спросил, за что его арестовали.

– Да поднял немецкую листовку. Пришли за мной из СМЕРШа, приводят к следователю. Так и так, говорю, был факт. Опять вопросы задают. И вдруг другой смершевец: «Скажите, а где ваш брат?» Понятно, что контрразведка навела справки. Я говорю: «Брат умер». Этот ухмыляется. Нет, мол, вы скрываете. Брат ваш арестован как враг народа.

Про СМЕРШ он рассказывал как бы бесстрастно, внешне почти спокойно.

– Там особо-то не церемонились. Допустим, чтобы человек дал нужные показания, зажимают дверью пальцы рук и давят изо всех сил. Заговоришь!

В одном раннем стихотворении Васильев писал:

Мне ломали руки на допросах,
Били рукояткой по лицу...

Возвращаюсь к выступлению на радио.

В. – Некоторое время я был в валуйской тюрьме. Оттуда организовали этап и в сорока «телячьих» красных вагонах нас повезли на север. Когда мы проехали Москву, повернули на Урал и высадили нас в Соликамске. Дорогой нас не поили почти, давали селёдку и четыреста грамм хлеба. И больше ничего. Пить все хотели и, когда высадились в Соликамске, не могли напиться, а в Соликамске вода солоноватая. Там Фомин был, валуйский товарищ, мы с ним ведро выпили воды.

Все десять лет я пробыл в лагере, на различных лагерных пунктах и пилил лес. В то время пилили поперечком и лучком.

Надо было откопать ёлку или сосну, спилить её, обрубить сучья, раскорежевать, вывернуть из снега и подкатить к волоку...

Ш. – Как вынесли вы всё это?

В. – Ну как... как все. Там люди умирали один за другим. Сорок пятый год, население голодало, а в лагерях тем более, но всё-таки хлеб нам давали, сколько ты заработаешь: вот напил, выполнил норму четыре куба – за это давали от шестисот до девятисот грамм хлеба. Если перевыполнишь норму, то девятьсот грамм. Кормили один раз в сутки, вечером, утром баланда, обеда никакого, а вечером давали весь хлеб – все рекордные, овсяные запеканки. Одевали бушлаты – телогрейки, лапти, пайпаки, стежённые бурки из ваты. Ходили на работу шесть-семь километров, в зону оцепления.

Ш. – Как вспоминаются вам те люди, с которыми пришлось десять лет быть?

В. – Люди эти не сохранились в большинстве, они погибли там.

Ш. – Сколько вас выжило?

В. – Из Валуек этапировали тысячу с чем-то человек. Восемь человек только выжили. Там же и водянка, и пеллагра от недоедания. Единственное, чего не было, – туберкулёз, потому что там хвоя кругом, и в бараках стояли две бочки с пихтовым настоем и надзиратель. С работы заходишь, ты должен кружку пихтового настоя выпить, это помогало от цинги. Но мы были, как бухенвальдские узники, плохо ели очень, тяжёлая работа была... было время – мы всю траву в зоне съели...

Практически всё это я уже слышал от него раньше, в различных обстоятельствах и с небольшими вариациями. В отличие от радиоэфира, устные рассказы, по крайней мере у нас дома, имели одну особенность. О кошмарах лагерной зоны Виктор Николаевич рассказывал чуть ли не весело, со смешками, часто улыбочиво и после каждого такого эпизода, покачивая головой, прибавлял что-нибудь вроде: «ой, чё де-

лали, ужас!» или «ну, это вообще». Было понятно, что столь своеобразная манера – следствие душевных переживаний, потрясений и возникала, как любили тогда выражаться, на нервной почве. Иногда его повествование шло в эпической, безоценочной тональности, но эффект тот же: будто мороз по коже. Например, рассказывает, как на лесоповале стал терять вес с голодухи. Опухали ноги. Превращался в доходягу. Умер бы, да повезло сибиряку: взяли его на работу в медчасть, приметила парня какая-то жалостливая врачиха. Подкормился, получил от начальства важное задание – отвозить на повозке штабеля трупов и сваливать их в болотную трясиину. Исправно трудился, вопреки всему выжил в аду.

В августе 1953 года Васильев вернулся в Омск. Снова обращаюсь к радиийному тексту.

Ш. – До войны вы были женаты?

В. – Да, я был женат с 1938 года. У меня был сын сорокового года рождения. Когда вернулся, ему уже тринадцать лет было.

Ш. – Узнал вас?

В. – Он меня сразу-то не узнал, но, когда поговорили, на лавочке посидели, я говорю: «Ты во второй квартире живёшь?» – «Во второй». – «А зовут мать Ниной?» – «Ниной». А потом посмотрел: «Ты мой отец».

Ш. – А семья что знала о вас?

В. – Дело в том, что жена у меня получала за сына пенсию. Извещение пришло, что я погиб в боях под Москвой. Под Москвой я никогда не был в боях, так что я как мёртвая душа был. Когда я прибыл, меня вызвали в райсобес, говорят: отдай эти деньги. Я показал справку об освобождении, говорю: я отбыл срок. Отвязались от меня.

Ш. – Как сложилось потом, когда вы вернулись?

В. – Мне поставили в паспорт на последний листок штампик, там 59 цифра – политически опасный. Меня нигде не принимали, я устроился грузчиком в речной порт, а потом, в

пятьдесят пятом году, фотографом устроился. В шестидесятом меня реабилитировали, вызвали в КГБ, там моё дело толстое. Спросили: «Что же вы такие показания подписывали?» Я говорю: «Майор, если бы вы были в контрразведке СМЕРШ, вы бы не такие подписали».

Пятьдесят третий... Отчётливо почему-то запомнился изрядно подвыпивший мужчина, и где? – прямо под окнами «серого дома». Он торжествующе горланил актуальную в тот момент частушку:

Берия, Берия
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.

Я понятия не имел, кто эти нехорошие дяденьки и почему они рассорились, ведь ещё вчера их портреты несли на праздничных демонстрациях и выставляли на окнах второго этажа в здании МГБ. Взрослые вскоре будут читать повесть «Оттепель» и повторять за поэтом строчки о радости, которую принесла с собой весна:

Вы понимаете: градус
Благостный
Градус
Тепла!

II

Дом, в котором прожито без малого полвека, стоит прямо против школы, где я учился. До войны школу № 19 (им. Ленина) окончили мама и мамин брат. Васильев называет себя в автобиографии выпускником 1935 года. Бывают же такие совпадения! Более того, последний адрес семьи учителя Н.К. Васильева в Омске – улица Ленина, 17. Когда мы въехали в но-

вую квартиру, наш дом унаследовал 17-й номер на том же месте. Виктор Николаевич говорил:

– Во дворе этой школы стоял большой флигель, у которого были заросли сирени, стояла лавочка. Во флигеле кроме нас жили директор школы № 19 Масалкин, преподаватель Шехурдин и ещё одна семья.

Иван Шехурдин, преемник Масалкина, был среди понятых при аресте Николая Корниловича, а его дочь Клавдию Иванову хорошо знал мой папа. Получается: все каким-то образом, пусть и не напрямую, связаны друг с другом местом, временем и пространством. Одно слово – земляки.

После освобождения Виктор Николаевич по примеру старшего брата пишет стихи, прозу. Лучшим материалом для его послевоенной биографии считаю письма к вдове Павла Елене Александровне Вяловой. Их публикацию подготовила Светлана Ивановна Гронская для интереснейшей документальной повести о Елене и Павле, а также о других омичах. Я выбрал один отрывок из письма Виктора Николаевича к Елене Александровне от 27 февраля 1957 года: «Жизнь у меня понемногу улучшается – устроился на работу. Здесь, в Омске, я встретил несколько местных поэтов: Журавлёва, Шевчука, Дядова. Они все почитатели Павла, но всё ещё чего-то боятся. Мы выпивали у писателя Полторанина, и я читал "Бухту". Журавлёв здесь – начальник Облита.

Обещает устроить меня корреспондентом в местную газету. Но мне что-то, по совести, неохота браться за это дело»¹.

О сотрудничестве с омской прессой не могло быть и речи. Бывший фронтовик и зэк с тяжёлым жизненным опытом оставался в глазах начальства персоной нежелательной. Ещё одно воспоминание:

– Как-то в связи с XX партсъездом, выступлением Хру-

¹ Гронская С.И. «Здесь я рассадил свои тополя...» – М.: Флинта, 2005. С. 171. Автор письма под впечатлением первого знакомства не вполне правильно называет их фамилии. Полторанин – это прозаик В.В. Полторакин, а Дядов – поэт Андрей Лядов, выпустивший в Омске сборник стихов и песен «На нашей улице» (1953).

щёва я отнёс в «Омскую правду» свои рассказы. Читали корреспонденты. А потом всё это дело прекратилось, я был под наблюдением КГБ. Меня даже вызывал к себе генерал Лякишев. Когда меня первый раз привезли туда, он говорит: «Вы пишете хорошо, но такого об этом не надо, это надо забыть. Это ошибки и прочее».

Генерал, дающий мудрые советы, был, кажется, человеком более или менее равнодушным к литературе. Возможно, сам пописывал на досуге. Помню рассказ одного омского журналиста и поэта о беседе (похоже, профилактического свойства) с начальником УКГБ Лякишевым: «Зная, что я пишу стихи и статьи о театре, он предложил мне соавторство – вместе написать для музкомедии не то оперетту, не то водевиль. Пришлось огорчить начальника».

Прошло двадцать лет, рассказы Васильева начали малопомалу появляться в печати и с тех пор заняли своё достойное место рядом с прозой В. Шаламова и А. Солженицына. Если раньше Виктор Николаевич жил как бы в тени известного брата, как «брат Павла Васильева», то с началом крутых перемен в обществе обрёл статус самостоятельного, ярко индивидуального литератора. Пришло заслуженное признание. Его приняли в Союз писателей России.

У меня сохранилось несколько рассказов, не вошедших в книжки Васильева. Они легко читаются, и возникает ощущение, что автор обходился без черновиков, сразу писал набело. Вероятно, я ошибаюсь. Ему удавались портреты, живой диалог, вообще короткие сюжетные вещи, построенные по законам новеллистического жанра. Что такое новелла? Это история одного случая, одного события. Припоминая нашу цензуру, могу себе представить, как творчество Васильева вызывало у чиновников раздражение, будучи «нетипичным». Сейчас подобные упрёки не имеют значения.

Вот военный рассказ «Фартовый парень». Опытный и удачливый разведчик – сибиряк Афоня Гладышев вместе с ефрейтором из боевой разведки получают задание – уни-

чтожить немецкого снайпера. Много он наших положил. Захват «языка» проходит успешно, разведчики тащат пленного по снегу. И вдруг Гладышев, любитель «трофейных побрякушек», спохватился, что забыл взять на месте немецкий бинокль. Он бежит за биноклем и, забыв осторожность, погибает от выстрела второго вражеского снайпера, пришедшего на смену. Точка. Все героические боевые дела Афони остаются за рамками сюжета. Нетипично? Лучше спросить у фронтовиков.

«Случай на фронте» – драматическая история о двух уроженцах Тары. На фронте мужики держались вместе, ели из одного котелка, но тот, что постарше, в душе не уважал земляка за страсть к трофеям, взятым не в бою, а с убитых фрицев. Таких обычно называли барахольщиками. Что ж, война есть война. Читатель ждёт события, и оно происходит. Когда коллекционер «штучек» просит товарища стрельнуть ему в руку, дабы избежать передовой, то вместо ранения получает смертельную пулю. Поворот неожиданный. Убийца сознаётся в содеянном перед офицерами батальона и кладёт на пол вещмешок покойного. Его, разумеется, ждёт трибунал, но финал рассказа скупой прописан так, что мы понимаем весь трагизм проступка. Как знать, возможно, до суда дело не дойдёт, потому что боевые товарищи не осуждают солдата, не сдадут своего.

Автору близки такие бойцы, как сержант Мартын Соловейчик из рассказа «Парламентёр». Благодаря умению сержанта артистично врать на переговорах с немцами, наш «ополовиненный» батальон получает возможность иметь трёхчасовую передышку. В ответ на похвалу друга Соловейчик просто реагирует: «Ради товарищей я бы на колени упал, паря». Мы догадываемся, что после передышки батальон примет неравный бой, пушек нет, и немцы об этом знают. «Прорвёмся», – спокойно говорит комбат. Настоящий финал впереди, «за кадром».

Васильеву не занимать воображения и художественного чутья на правду. А как быть с выдумкой? А так, чтобы это походило на правду. Одно другому не помеха. Виктор Нико-

лаевич умел придумывать реалистические коллизии. Перечитываю рассказ «Дарья». Глухая сибирская деревня Романтеевка.

Разгар «сплошной» коллективизации: «кулачат» крепкие мужицкие семьи. Вчерашние партизаны Ефим и Нил воевали с Колчаком. Теперь живут зажиточно, даже вступают в партию. Ефим, сделавшийся председателем сельсовета, по-дружески уговаривает Нила сдать всё богатство, написать заявление о вступлении в колхоз. Нил уже выложил партбилет и обещает подумать. «Но на следующее утро, когда прислали из сельсовета делать опись имущества для передачи в колхоз, его и след простыл», – читаем в рассказе.

Тогда берут в оборот дочь его Дарью. Женщина молодая, муж в Красной армии. Нет, всё едино – кулацкая девка. Арест. Потом заточение на ночь в красном уголке сельсовета.

Женщина отвечает отказом выдать отца и всю семью, скрывшуюся в непроходимом урмане. Улучив момент, пленница разбивает оконную раму, распахивает ставни. Схватив зажжённую керосиновую лампу, Дарья бросает её в груды газет и брошюр и бежит в соседнюю деревню, там крёстная. А после уйдёт к батяне знакомой ей тропой.

Написано в 1990 году. Материал в то время воспринимался уже как знакомый, как повтор чего-то известного, литературно-киношно освоенного. Автор едва ли мог по малолетству быть очевидцем описываемых событий. Вероятно, он слышал нечто похожее от старших. Так бывает у писателей: заимствуют из чужого устного источника. Васильев сделал это художественно-убедительно, с достоверными подробностями. Жаль, что рассказ остался в рукописи..

«Детали – вот область побед реализма», – сказал Жюль Ренар. Максима француза может иметь прямое отношение к прозе писателя-сибиряка, овладевшего искусством короткого рассказа и/или новеллы, когда важна любая мелочь.

III

Последняя книжка Васильева, она же и первая стихотворная, вышла в Омском книжном издательстве незадолго до ухода автора. Грустно видеть на обложке чеховское название – «Цветы запоздалые». Да, поздно, слишком поздно стихи Виктора Николаевича пришли к землякам. И всё-таки хорошо, что сборник есть, он стал фактом литературной биографии писателя и, уверен, частью нашего культурного наследия.

Правда, эти васильевские «цветы» вызвали у меня противоречивые чувства. Сборник достоин отдельной темы, в очерке же разбор стихов не входит в мою задачу. Впрочем, такой анализ будет когда-нибудь сделан в контексте жизнеописания человека, на долю которого выпало слишком много горя – война, лагерь, послевоенная маета в образцовой зоне. Сам Виктор Николаевич отнюдь не идеализировал себя:

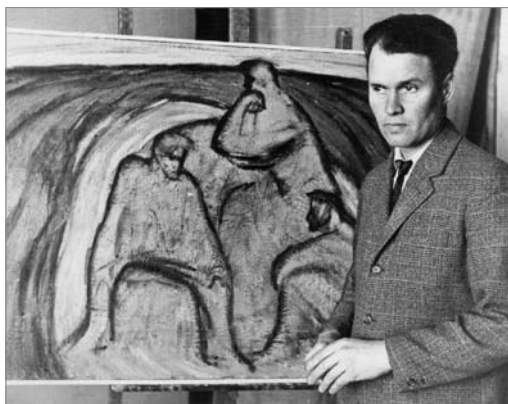
Пуškai простят меня за стих
Подруги, что ещё живые...
Я стар уже, в любви утих
И отхожу в места иные.
Там нету девок и вина,
Там в облаках Христос гуляет...
Меня же встретит Сатана,
Который про меня всё знает...

Последний раз я виделся с ним у него дома. Всё так же приветливо и гостеприимно встретила на пороге Мария Ивановна. Как и двадцать лет тому назад, в квартире сохранялись уют и чистота. Хозяину нездоровилось, он, правда, не подавал виду, был оживлён, охотно отвечал на мои вопросы.

Мы обменялись книжками: Виктор Николаевич мне – «Этап на восьмую», я ему – «Омскую стрелку».

После тяжёлой болезни его не стало. Он прожил восемьдесят семь лет. Это невероятно!

НИКОЛАЙ ТРЕТЬЯКОВ



Был спокойный денёк, располагающий к размышлениям. Открыв астрологический альманах своего знака, я прочёл интригующее сообщение: «Окружающее пространство пытается сообщить вам что-то важное». Я не суеверен и к гороскопам отношусь как к занятому чтиву, не более. На сей раз насторожился. Нет, пространство молчало... И вдруг вспомнился наш художник Николай Яковлевич Третьяков, с которым я был дружен в мои далёкие студенческие годы. Вот, сказал я себе, будь он жив, фраза из гороскопа идеально бы соответствовала вектору его творческих исканий. В памяти современников Третьяков остался удивительным феноменом – поэтом пространства, мастерски освоенного разнообразными пластическими и колористическими средствами. Как тут не вспомнить Пастернака, мечтавшего:

...Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Николаю Яковлевичу удалось и то, и другое: при жизни пространство ответило мастеру любовью, а будущее признало в нём талантливейшего экспериментатора. Он слышал сигналы из будущего.

Кто нас познакомил, напрочь выпало из памяти. Скорее всего Жорж Шеходанов, учившийся на филфаке двумя годами старше. Место первой встречи – мастерская Николая Яковлевича в Доме художника, куда мы, студенты, являлись обычно без предварительных договорённостей. Потом я приходил к нему один, с удивлением рассматривал новые работы, фотографировал, слушал, впитывал. Правда, он был немногословен и почти всегда казался мне человеком озабоченным. Я чувствовал, как серьёзен, глубок художник, чуждый всякому позёрству, фальши. Если встретишь его на улице, он вечно куда-то спешит, поглощён своими мыслями. В те периоды, когда Третьякова обижали чиновники и некоторые коллеги из творческого союза, мог быть раздражённым, даже злым.

Содержание наших бесед об искусстве теперь, увы, не поддаётся воспроизведению. Заимствую у Горького: мои университеты. Иногда я приносил какую-нибудь книгу о живописи, допустим, толстенный «Постимпрессионизм» Джона Ревалда, и тогда Николай Яковлевич увлечённо говорил о технике французов нечто такое профессионально точное, о чём мне было неизвестно. Есть фотография, где мы с ним сидим у огромного окна в мастерской и рассматриваем какую-то книгу. Это я принёс библиотечный экземпляр довоенного издания о европейском модернизме с редкими чёрно-белыми иллюстрациями. Николай Яковлевич листал её с жадным интересом, комментировал пристрастно: и наши, мол, были не хуже, может быть, в чём-то даже и лучше.

Третьяков да ещё Николай Брюханов считались в Омске авангардными художниками, с их именами начальство связывало официальное представление о формализме в искусстве. Любимая ещё со времён Сталина тема! Мы, молодёжь шестидесятых, были полностью на стороне «формалистов», каковыми те, разумеется, не являлись. Если взять хотя бы одну работу Третьякова (на здании Дворца бракосочетаний), то понимаешь, что наш художник ничего общего с формализмом

не имеет. Но кто же он по творческому методу? Я согласен со специалистами, что наиболее адекватный термин для характеристики зрелого Третьякова – экспрессионизм. Кошмар! Ведь омские хозяйственники, руководившие культурой, из всех «измов» признавали лишь социалистический «изм», приставленный к реализму. Оба Николая были желанными мишенями для провинциальных аппаратчиков.

Шестидесятники помнят, что информация о европейских художниках-модернистах едва начинала пробиваться в интеллектуальную атмосферу СССР. По мере возможности я старался расширять свой кругозор и довольно рано понял, что творчество Третьякова прочно ассоциируется в моём сознании с выдающимися по силе эмоционального воздействия фантазиями Э. Мунха, М. Шагала, П. Филонова, М. Чюрлениса. Не сравниваю, нет, просто ставлю в один ряд.

Из работ, показанных мне Николаем Яковлевичем, две могу худо-бедно описать словами.

Первая. Достаточно большая композиция. Не уверен, что это масло, возможно, картон, техника смешанная. На фоне чёрно-серой полуокружности, похожей одновременно на полосатый арбуз и земной шар, сидят трое. Мужики расположены по центру и вписаны в светлый овал. Они едут по степи, сидя в кузове грузовика. Простые работы. Фигуры этих людей не прорисованы детально, только подчёркнуты контурно. Приём выбран сознательно, ибо так достигается эффект максимального обобщения: смотрите, земля и люди, можно ещё короче – земля. Понятно, впрочем, – это наша земля, наши люди. В чём же формализм? Где он?

Другая вещь. Тёмный профиль человека во весь рост. Он в пальто и кепке, надвинутой на глаза. Руки в карманах. Человек широко шагает по мосту через бурную реку навстречу шквалистому ветру, поэтому его тело заметно наклонено вперёд. За спиной развеваются полы пальто. Контраст чёрного и белого усиливает экспрессию всей композиции, которую я для себя назвал одним словом – «Соппротивление». По-моему,

она автобиографична. Третьяков никогда не шёл «в ногу», но неизменно боролся с обстоятельствами, не терял лица. Он жил и творил в состоянии постоянного напряжения, сердце не выдержало перегрузок. Николай Яковлевич внезапно скончался в своей мастерской весной 1989 года.

II

В начале февраля 2007 года мне посчастливилось побывать на юбилейной выставке, посвященной 80-летию художника. Это событие – тоже встреча, волнующая, прекрасная, незабываемая. Вновь, как «на заре туманной юности», я испытал чувство восхищения искусством мастера. Экспозиция картин, эскизов, фрагментов мозаичных панно удачно дополнялась литературной частью коллекции, бережно сохранный. Искусствоведы-музейщики сработали на славу, с большой любовью к Мастеру. Залы генерал-губернаторского дворца, казалось, не вмещали всех желающих увидеть этот фантастический и реальный мир красоты. Выставку сопровождали круглый стол и вечер памяти, где прозвучали самые, не побоюсь сказать, восторженные отзывы о Николае Яковлевиче. Говорили преимущественно искусствоведы и художники, близко знавшие Третьякова. Я отметил поразительное единодушие в речах выступавших: честный человек, космический человек, Омску повезло, что в нём жил Третьяков. Он излучал теплоту и опережал время (здесь не было преувеличений). Профессиональные наблюдения отличались глубиной, как подобает солидным научным форумам. И вместе с тем царило приподнятое, праздничное настроение.

Я пошёл по залам. Ранний Третьяков юношески трогателен в серии акварельных вещей традиционного реалистического стиля. Есть и картины маслом. Пора ученичества у всех более или менее одинакова: «Вечер», «Девочка с телёнком», «Окраина города», «Лыжная прогулка»... Нет, надо искать другие пути. Как чеховский Треплев, он мог бы заявить: «Нужны

новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». Эта цитата к старому вопросу о традициях и новаторстве. Каждый выбирает свою дорогу.

Настоящий Третьяков начинается в шестидесятые годы. Становление художника происходит в пору активного интереса культурной общественности к мифопоэтическим сюжетам русской культуры. Форма как таковая в центре художественных исканий Третьякова. Когда внимательно всматриваешься в композиции Николая Яковлевича, появляется догадка, что ему было тесно в нормах станковой живописи, рамки холста или картона словно сдерживали полёт его фантазии. Отсюда утрирование пропорций, интенсивность условных элементов в урбанистических пейзажах. Так, Омск, хоть и узнаваем в нагромождении знакомых домов, мостов, башенок и прочих знаков предметного мира, но ведь это не просто наш город, а Город вообще, Город-Символ. В серии «Воспоминание о детстве» реалии деревенского быта спрессованы до предела. Лубочная, сказочная, отчасти пародийная основа картонов воспринимается как лукавая параллель к рассказам Шукшина о сельских чудиках.

В алтайском цикле доминируют цвет и орнамент. Фантастическая окраска, гротесковая поэтика иных картонов может смутить приверженцев фотореализма. Ещё бы! У Третьякова лесорубы похожи на сказочных троллей – «на лицо ужасные, добрые внутри». Под стать им поморы русского Севера, суровые «труженики моря» с огрубевшими от ветра и соли ручищами. Пластическая выразительность свойственна Третьякову, любившему гиперболизм, когда есть возможность подчеркнуть субъективность мировосприятия. Он стимулирует нашу способность к ассоциативному мышлению, ведь сканирование абстракций – увлекательная задача для любого мыслящего человека.

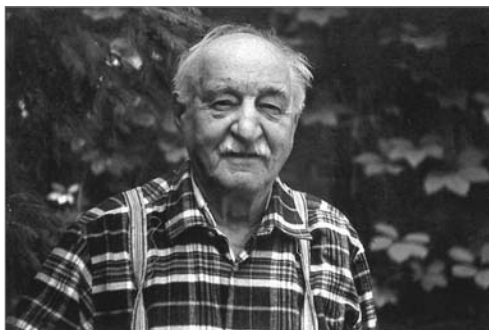
Когда-то давно один из столпов русского символизма назвал отличительной чертой нового метода в искусстве «расширение художественной впечатлительности». Любуясь ори-

гинальными работами моего старшего земляка, я вспомнил эту точную формулу, универсальную для всех эпох. Третьяков скорее всего её не знал, но эволюционировал именно в таком направлении. Без впечатлительности нет искусства.

Обилие эскизов и набросков к монументально-декоративным композициям на выставке поразило меня. Роспись стен, фойе, танцевального зала на заводе им. Баранова, бетонные рельефы на Дворце пионеров, доме культуры МВД, ещё что-то. Многие проекты, к сожалению, остались неосуществлёнными. Третьяков был влеком объёмами и пространством. Работа на плоскости большого размера укрепляла в нём творческое самочувствие и сознание своей социальной востребованности. Без созданных им панно и рельефов город утратил бы нечто очень важное. А Омск стал для Николая Яковлевича второй родиной.

Я уходил из генерал-губернаторского дворца, припоминая наши давние встречи и беседы. Столько лет прошло! Я благодарен устроителям выставки за прекрасную «третьяковскую галерею». Действительно, Омску повезло.

ВАДИМ БЕРНИКОВ



I

В начале семидесятых по какой-то надобности я просматривал миниатюрное справочное издание «Научные работники Омска». Год издания – 1929. На седьмой странице под номером 23 значилось:

Берников Вадим Бенедиктович, род. 4 мая 1896. И.О. млад. ассист.

Почвоведение. Загородная ч. ин-та. Окончил лесной ф-т СПб.с.х.

На всякий случай, скорее по привычке, я сделал выписку, не преследуя никакой практической цели. Возраст омских учёных не оставлял надежд на личное знакомство. Мне казалось, все давно уже в лучшем из миров. Я ошибался. Оказалось, что Берников жив. Леонид Мартынов упоминает его в новелле «Омские озорники». Завязка уже есть. Как теперь говорят, меня зацепило.

Вслед за Мартыновым повторю: Вадим Берников – правнук П.П. Ершова, автора «Конька-Горбунка». И никакой он не Бенедиктович, а Венедиктович. В то время на студии телевидения начались съёмки документального фильма о литературном Омске по моему сценарию. Ноги сами несли к дому старого профессора в Горный переулок близ

телецентра. Какая удача! Некоторые скудные сведения – буквально по крупицам – о семействе Берниковых я успел собрать. Бабушка профессора Людмила Петровна приходилась дочерью Ершову от его второго брака. Матушку звали Надеждой Демьяновной (внучка поэта). Она состояла в браке с офицером-воспитателем Омского кадетского корпуса подполковником Венедиктом Берниковым, получившим образование в том же учебном заведении и, сверх того, в Константиновском военном училище по первому разряду. В служебной характеристике, написанной командиром роты полковником Руссетом, о Берникове сказано так: «Очень расчётлив и бережлив, хороший семьянин и товарищ... Свои обязанности исполняет с усердием, хорошо знает быт кадет, относится к ним заботливо и отстаивает их интересы... По своим способностям склонен к деятельности хозяйственной и административной. Спиртные напитки употребляет редко».

Супруги имели двоих детей, жили не бедно. Что ж, родословная подходящая. И вот я иду к их сыну, 85-летнему профессору-почвоведу, который – как выяснилось позже – всю жизнь пишет стихи, что-то печатает. Слава Ираклия Андроникова не даёт мне покоя, и от этого наивного чувства становится весело. Дом, где жил профессорско-преподавательский состав Аграрной академии, был мрачноват, неуютен. Постройка начала века. Жильцов в нём, похоже, оставалось немного. Квартира Берникова на первом этаже представляла довольно просторное помещение с анфиладой комнат, кухней и подсобными кладовками. В самом конце квартиры, в рабочем кабинете, ждал меня хозяин. Высокий, седой, с пышными усами, он был одет в тёплый домашний, точно такой же, как у меня, бежевый пиджак. Я сказал ему, что у нас много общего. В ответ из-под усов приветливо мелькнула улыбка.

Я рассказал ему о цели визита, выразив чувство изумления, что вот, мол, довелось встретиться с потомком самого Ершова.

– Вадим Венедиктович, сохранилось ли у вас что-нибудь из архива вашего прадеда?

– Нет. Всё, что у нас было ершовское, мать отправила в Тобольск, в том числе конторку, за которой Ершов работал. Кое-какие старые издания остались, но это девятьсот одиннадцатого года или даже более ранние.

Никаких автографов, рукописей в семье не было, во всяком случае он не помнит. Наша беседа носила свободный характер, не ограничиваясь литературной тематикой, чему я был страшно рад, поскольку старый Омск и его старожилы всегда вызывали у меня интерес, независимо от чинов, званий и профессий. В памяти Берникова жили разные колоритные фигуры. Так, он вспомнил, что некто Кожевников, омич, давал у себя на дому уроки игры на балалайке, и юный Берников учился у него этому искусству. В 1909 году Вадим впервые посетил сад П.С. Комиссарова, бывал там и позже. Хозяин сада ходил босиком, всё делал своими руками, семья ему не помогала. Таких людей, как Павел Саввич, теперь редко встретишь. Или взять ссыльного учёного Л.К. Чермака. Чех по национальности, учёный жил в Омске под надзором полиции. Образование получил в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Он устраивал экспедиции, привозил в Омск образцы почв, хотя его специальность другая – экономист. В составе экспедиций у него все были ссыльнопоселенцы. Работал Лев Карлович при переселенческом управлении.

Спрашиваю о семействе Сорокиных.

– Знаете, Антон ведь помогал отцу по торговым делам. Старый Сорокин торговал солью на Коряковских озёрах в Павлодарской губернии, грузил её на баржи, возил в Омск. У моего деда по отцу была усадьба и четыре флигеля на Симоновской улице, рядом с кадетским корпусом. И вот однажды старик Сорокин явился к моему папе с просьбой арендовать нижнюю террасу для склада соли. Познакомились. Кстати сказать, он разводил кактусы... Ну, а Антон

тоже приходил к нам, приглашал к себе. Это, пожалуй, чуть позже – в 1916–17 годах.

Слово за слово, и наконец зашла речь об учёбе Вадима Венедиктовича. Первые два года мальчик обучался в Париже, в школе для детей русских политэмигрантов.

– Моя мать была вольнодумчивая женщина и не хотела, чтобы мы (Вадим и его старший брат. – *С.П.*) учились в царской школе.

Это прозвучало для меня неожиданно, и, видя мое лицо, хозяин дома продолжал.

– Я учился в одном классе с Максимом Пешковым, сыном Горького. Сидел с ним за одной партой. Как-то раз Горький пришёл к нам на урок математики – её преподавал Александр Михайлович Коваленко, офицер-механик с «Потёмкина». Горький тогда просидел рядом весь урок.

Было заметно, что ему приятно вспоминать школьные годы и что нашёлся человек, который с интересом его слушает. Берников говорит:

– Я, между прочим, видел Ленина в 1911 году во время похорон Лафарга на Пер-Лашез. Пришло много учеников старших классов нашей школы. С прощальными речами выступали Жорес, Каутский, какой-то Рубанович. Ленин говорил последним, четвёртым. Зрелище впечатляющее. Но мы стояли далеко в толпе, было плохо слышно. Из труб крематория валил дым..

А я живо представил себе пятнадцатилетнего русского мальчугана среди европейских социалистов и просто рядовых парижан, пришедших на «импозантную церемонию сожжения Лафаргов», как выразился один, тоже русский публицист, очевидец происходящего.

Несколько пояснений в этом месте не помешают. Известный социалист, ученик и зять К. Маркса Поль Лафарг вместе с женой Лаурой покончили с собой в конце ноября 1911 года. Внезапный двойной суицид вызвал шок и разногласия толки среди международной революционной об-

щественности. Мировая печать откликнулась сочувственными некрологами о покойных. Одна из влиятельных газет написала даже, что смерть Лафаргов «не лишена величия». Ленин на кладбище выступал от имени русских социал-демократов (РСДРП), испытывающих на себе «весь гнёт абсолютизма, пропитанного азиатским варварством», и выражал «чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг».

«Какой-то Рубанович» – один из лидеров партии левых эсеров. Вот всё, что мне удалось выудить из примечаний к ленинскому ПСС.

В 1915 году учёба Берникова продолжалась в петроградском Лесном институте. Юноша влюблён в русскую природу, пишет стихи, покупает стихотворные сборники Есенина, Блока, имажинистов. Запомнился вечер футуристов: Бурлюк и Маяковский в жёлтой кофте.

– До февральской революции мы всей семьёй жили в Петрограде, а потом уехали и всё оставили – книги, картины, мебель, – говорит Вадим Венедиктович. Вспоминает, что часто болел, были проблемы с лёгкими. И снова Омск. Вскоре началась Гражданская война.

– Где Вы были в дни правления Колчака? – спросил я.

– Я жил на заимке, – лукаво улыбнулся профессор. – Затем работал библиотекарем в губернском лесном управлении, позже уехал в экспедицию на Зайсан.

Близость к земле (ведь стал почвоведом!) и чувство родной природы давали мощный импульс к поэтическим занятиям. Вадим Венедиктович признался, что сочинять стихи – это потребность души. Пишет и сейчас. Я тут же предложил свои услуги в качестве составителя стихотворной книжки. Старик отвечал как-то уклончиво.

– Ну, тогда напишите мне что-нибудь в мою рабочую тетрадь, – попросил я.

Он открыл тетрадь и в конце страницы, где заканчивался конспект нашей беседы, разборчиво написал:

Я снова среди вас, друзья, –
Поляны, перелески, пашни.
Прощай, день осени вчерашний,
Да здравствует весенняя земля.

5 VIII 81 Омск

II

В другой день беседа имела продолжение. Вадим Венедиктович вспоминал своё участие в «Артели омских писателей и поэтов» и поэтический дебют в «Сибирских огнях», получивший одобрение Лидии Сейфуллиной. Вспомнились также фамилии литераторов, которые посещали Антона Сорокина. Для будущих краеведов называю этих лиц по списку Берникова: Е. Андреева, Беседин, Г. Вяткин, Г. Дружинин, П. Драверт, Вс. Иванов, Е. Минин, И. Ерошин, П. Оленич-Гнененко (отец), Судьин, К. Урманов. Вместе с братьями Мартыновыми приходили В. Шебалин и В. Язвицкий. И, конечно, сам Берников.

Добродушно посмеиваясь, рассказывал:

– На этих собраниях читались стихи, рассказы и повести, обсуждались, критиковались. А. Сорокин иногда веселил своими шаржами на присутствующих. В то время Вяткин имел какое-то отношение к губернскому продовольственному комитету, и Сорокин заметил:

Вяткин, Вяткин в губпродкоме
Ставит «шпентеля».

Очевидно, речь шла о печатях на продовольственные карточки. Кроме квартиры Сорокина собрания проходили в Газетном переулке в доме «Деловой двор», где для этой цели по четвергам в нижнем этаже отводилась небольшая комната, которая набивалась посетителями до отказа.

Хорошо помню Всеволода Иванова с густой копной волос на голове. Он подарил мне свои «Рогульки» с автографом, но, к сожалению, уцелела лишь одна страница. Это был весёлый человек, всё время напевал:

В далёкой жаркой Аргентине,
Где небо знойное так сине,
Все женщины, как на картине,
Танцуют все танго!

То была модная песенка из репертуара Изы Кремер.

Братьев Мартыновых он тоже хорошо помнил, приходил к ним домой на улицу Красных Зорь. Кое-что его удивляло.

– Ощущалось, что Леонид считал себя лучше других. Была у него привычка, казавшаяся мне странной, – ходить, высоко держа голову. Брат был проще. Я всегда видел их вдвоём, и, когда Николай Николаевич умер, Леонид почему-то не приехал на похороны. Странно мне это...

Я не удержался и заметил ему, что Мартынов был человек сложный, закрытый, и те, кто знал его близко, видели некоторые странности поэта.

Вадим Венедиктович снова, как в прошлый раз, заговорил о Максиме.

– Вы знаете такую книгу «Горький и сын»? – вдруг спросил он у меня, как экзаменатор студента.

– Конечно, это замечательная книга, она есть в моей библиотеке.

– Да, книга хорошая. Но кое с чем я не согласен.

– И с чем же?

– Там в предисловии пишут, что Горький был чуть ли не примерным отцом, а я полагаю, отец должен быть всегда с сыном. Я так считаю, что Коваленко был вторым отцом Максима: он заботился о нём, вообще присматривал. Это в книге как-то мимоходом дано.

Досталось и Н.А. Семашко, автору очерка «Максим-

ученик». Будущий нарком здравоохранения, большевик, в те парижские времена исполнял в школе обязанности «докторчика» (так прозвал его Макс) и воспитателя. Несколько раз Семашко упоминает богатых родителей, субсидировавших школу. Почему-то это задевало, может быть, обижало старого профессора.

– Он пишет о «богатеньких». Как это могло быть? Не подумал Николай Александрович, – забавно ворчал мой собеседник.

Память явно изменяла ему, точно он забыл о своих родителях, людях весьма состоятельных, имевших возможность учить сына в элитном учебном заведении Парижа. Вадим Венедиктович почти уверен, что и Горький давал большие суммы на содержание школы.

Показывает мне фотографии Максима. Тепло вспоминает парижские кварталы, уютные улочки, ласково называет их рюэльками. Говорит, что не раз бывал у Пешковых в одном из парижских особняков. Там видел Горького. Вздыхает:

– Жалко, конечно, Максима. Человек спортивного телосложения, энергичный, общительный. Но что-то у него было нехорошо в жизни...

Я почувствовал, что тайна внезапной смерти Максима продолжает волновать его, несмотря на её полувековую давность. Вокруг этого трагического события было много тёмных слухов, и Вадим Венедиктович хотел что-то прояснить для себя, когда пытался встретиться в Москве с Е.П. Пешковой спустя два или три года. Он дал мне понять, что визит к известной женщине и общественному деятелю мог бы иметь для него нежелательные последствия. Встреча не состоялась. Дом семьи Горького находился под контролем чекистов и осведомителей. Верно сказано: не буди лихо, пока оно тихо.

– Не напишете ли воспоминания о школе? – спросил я.

– Да, есть мечта написать, но, видно, эта мечта неосуществима, – отвечал он с грустной полуулыбкой.

III

Летом восемьдесят четвёртого года я работал в РГАЛИ, разыскивая материалы о писателях-омичах. Совершенно случайно в фонде журнала «Красная Новь» я наткнулся на стихотворение, отправленное из Омска на имя пролетарского поэта Василия Казина. В конце листа стояла подпись В. Берникова и год – 1924-й. Я переписал текст, представляя, как обрадую автора неожиданной находкой. По возвращении домой, дня через три, раздался телефонный звонок из больницы, и вежливый женский голос сообщил, что звонят по просьбе Вадима Венедиктовича. Он просит не мешкая приехать к нему. Я испугался: всё-таки возраст почтенный, могут быть какие-то просьбы, поручения. И я помчался на улицу Веры Засулич.

В палате находилось несколько человек. Берников лежал справа от входа, у стены, закрытый одеялом. Вопреки ожиданиям каких-либо поручений не последовало. Разговора не помню. Одиноким, ждущим конца, он просто хотел, чтобы его кто-нибудь навестил. Тогда я вынул из сумки листок со стихотворением и прочёл автору.

– Что это? – спросил Вадим Венедиктович, не узнавая собственного текста.

– Ваше произведение. Вам сюрприз. Неужели не помните?

Он не помнил. Тогда я рассказал про архив и про тот журнал. Молчание было мне красноречивым ответом.

К счастью, пришло выздоровление. Раза два-три я ещё приезжал к нему домой. Стояли жаркие денёчки, цветник под окнами благоухал, и в те дни почти поверилось, что наши собеседования повторятся. К большому сожалению, они не повторились.

Правнук Ершова, учёный и поэт, Берников был колоритнейшей фигурой в среде омичей. Из подаренных мне стихотворений одно кажется особенно трогательным. Вот оно.

ПРИВЕТ ПОТОМКАМ

Привет тебе, потомство наше!
Век двадцать первый, наш тебе привет!
Нам виден твой далёкий свет,
Он нашего теплей и краше.
Наш век, как бурный океан,
Нас поднимал на острый гребень.
Пусть вам, потомки, в ясном небе
Сияет дружба мирных стран.

К БИОГРАФИИ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

Ему не исполнилось ещё и тридцати, а из-под пера вырвалось претендующее на исповедальность признание: «Нет горя большего, как говорить о себе». Это начало одного из сибирских рассказов, страшного и по всем жанровым признакам автобиографического. Сердцевина рассказа – случайное убийство отца младшим братом автора Палладием. В то лето 1918 года Иванову пришлось недолго скрываться в родительском доме. Полный трагизма и народного эпического хладнокровия сюжет искусно закольцован повтором начальной фразы, но с финальной оговоркой: «И нет большей радости». Объяснение оговорки находим здесь же: «И тому, что жив, – радуюсь». Потому что дорогу свою с 1917 года Иванов называет смертной. Ну, ясно: революция, гражданская война, голод, болезни. Какие вопросы.

А все-таки: почему рассказать о себе – горе? Вниманию читателей предлагается опыт реконструкции биографического материала об Иванове с акцентом на характерных особенностях его творческого метода, точнее – авторской манеры письма.

«Другой» реализм

Творческие взаимоотношения Иванова с Горьким, дающие основание трактовать их как почти генетическую связь ученика с учителем, исследованы весьма подробно и, если иметь в виду внешнюю сторону, убедительно. Обычно, говоря о художественном мастерстве, подчеркивали, что Иванов был – наряду с некоторыми другими прозаиками – писателем горьковской школы. Это стало историко-литературной аксиомой. Но вот запись, сделанная в дневнике спустя годы. Наедине с собой можно быть свободным от порядком надоевшего пиетета перед классиком: «Обо

мне Горький всегда думал неправильно. Он ждал от меня того реализма, которым был сам наполнен до последнего волоска. Но мой "реализм" был совсем другой, и это его не то чтобы злило – а приводило в недоумение, и он всячески направлял меня в русло своего реализма». Вывод интригующий и не совсем понятный. Что значит «другой»? Но вправе ли мы требовать от писателя литературоведческой конкретизации? «Мой», «свой», «другой» – в данном случае определения туманны и не идут ни в какое сравнение с такими известными формулами, как «фантастический реализм» или «реализм в высшем смысле» (Достоевский). В последующих рассуждениях разъяснения также отсутствуют, и с максимальной искренностью Иванов признаётся, что идти в горьковском «русле» ему было бы удобнее, он и пытался, однако, к сожалению, его «корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, короче говоря, я до сих пор всё ещё другой».

Желание дистанцироваться от учителя в зрелом возрасте у талантливого литератора вполне объяснимо. Как и то, что, по крайней мере, добрая треть пути, вплоть до «Похождений факира», у Иванова действительно проходит под знаком Горького. И вот знаменитый писатель оказывается в лесу сомнений, может быть, даже на распутье. Реализм бытописательского свойства уже не удовлетворяет его. Определённо тянет к фантастическому, к символическим обобщениям. Остро чувствует «Сиволот» потребность синтеза жизненного факта и мифопоэтической образности. Возникают новые темы, напрямую не связанные с автобиографическим началом. Возможно, в этот период нужно искать «другого» Иванова, хотя уже в ряде юношеских рассказов и легенд проявилось это завидное умение существовать в двух измерениях.

А личная жизнь... В конце концов, всё лучшее у писателей – о себе, в тех или иных формах. «Жизнь моя – тема романа», – напишет он в дневнике за год до смерти. Ка-

жется, такой роман был создан – «Похождения факира»; между тем автор отрицал автобиографизм. На склоне лет книга едва ли удовлетворяла его, да и в год опубликования он сетовал, что путь к «настоящей правде» тернист: мешает «груз беллетристических навыков», и правда заслоняется «выдуманной чепухой».

Автобиографический жанр сам по себе не прост и не каждому литератору под силу. Иванов, сознавая трудности жанра, упрямо и неоднократно прорывался к «теме романа». Из дневниковой записи 1947 года: «Написал немного автобиографии, но получается как-то не всерьёз». Значит, не роман. Кстати, и романы-то не получаются, во всяком случае не печатаются. Жена писателя свидетельствует: «Он хотел печататься во что бы то ни стало. Искренне хотел быть "созвучным эпохе"»... Да, хотел быть «другим» и уже не мог изменить себе, раннему, блистательному, экзотическому. Другим стало и время. О чём же писать? Вот ещё одна запись в дневнике как симптом затяжного творческого кризиса: «Все мои автобиографии – лишь внешние факты моей жизни. Как всегда, когда говорится о жизни – с недомолвками и путаницей, – в жизни так трудно разобраться, да ещё в своей. Впрочем, ещё труднее написать автобиографию автотворчества».

Жанровые предпочтения претерпевают трансформацию, мучительное желание писать правду не ослабевает. Иванов задумывает книгу воспоминаний и успевает завершить два мемуарных очерка из серии «портреты моих друзей». Быть может, теплится надежда, что в портретной галерее легче выразить невысказанное, освободиться от тяжести накопившихся за долгую жизнь впечатлений. Как матёрый профессионал, Иванов хорошо знал правила игры: что можно, а чего нельзя советскому писателю. Он безукоризненно им следовал. Далеко не все жизненные впечатления доверялись дневнику, но кое-что из запретного он успел рассказать сво-

ему родному сыну. Уникальными могли бы стать его устные рассказы о Сибири, найдись подходящий конфиденд. В сибирском периоде наиболее интересна омская страница биографии молодого писателя (1917–1920), в частности, короткий срок правления адмирала А.В. Колчака.

Колчак

Все исследователи сходятся на том, что случайное знакомство Иванова с Верховным на квартире омского писателя Антона Сорокина есть не более чем фантазия мемуариста. Логика известная: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Не верят. Не вписывается эпизод в каноническую биографию благополучного советского классика. Зато почти никто не сомневается, читая в автобиографическом рассказе об участии автора в «коммунистических заговорах». Правда, Л. Гладковская осторожно замечает: «В качестве источника биографических фактов они (автобиографии. – С.П.) не всегда надёжны. Но писатель правдив и интересен создаваемой версией собственной жизни, передачей своего восприятия людей и событий, общего смысла пережитого»¹. Говоря о революционных заслугах Иванова в омском подполье, по сложившейся традиции безоговорочно доверяют воспоминаниям Н. Анова и старого большевика Г. Петрова. О свидетелях былых времён речь впереди, пока же заметим, что подлинники личных документов эпохи Гражданской войны сохранились далеко не у всех российских граждан. Жестокость классовой борьбы обострила инстинкт выживания, вынуждая людей жить под чужой фамилией, стыдиться родственников, скрывать истинное лицо и свою социальную принадлежность. «Не судите, да не судимы будете».

Время удобных схем и лукавой конъюнктуры миновало.

¹ Иванов Вс. Собр. соч. М.: Худож. лит., 1978. Т. 8. С. 712.

Значит, актуален контрапункт документальных материалов и поиск новых, ещё не известных.

Но коллега находит точное определение автобиографическим запискам писателя: версии. Иванов умел талантливо сплавить в единое и убедительное целое картины ужасов кровавой бойни, выдумку, фигуры умолчания. Доверительность интонации от первого лица усиливала эффект переживания, и никому не приходило в голову отделять правду факта от художественной правды вымысла. Появившийся в Петрограде Иванов казался персонажем экзотическим, таким сибирским самородком, открывшим «серапионовым братьям», что в Сибири пальмы не растут¹.

В сознании большинства советских граждан личность адмирала и по сей день прочно ассоциируется с контрреволюцией и массовыми расстрелами рабочих. Политические взгляды Колчака мало кого интересовали, оставаясь, по существу, неизвестными. В последние годы лёд тронулся: появились книги и научные публикации, заговорили о реабилитации, о памятниках выдающемуся моряку и популярному исследователю. Ничего подобного не могло произойти при жизни Иванова. В очерке о Сорокине эпизод с «диктатором» воспринимался как смелая выходка мастера, любившего фантазировать, хотя Колчак в нём выглядит однозначно негативно: обещает повесить Горького и Блока, когда возьмёт Москву. «Весьма вероятно, что этот эпизод — вымышленный. Нет никаких подтверждений того, что Иванов был тогда "удостоен" этого знакомства»². Осторожная обмолвка комментатора похвальна — нет категоричности. Ирония же неуместна, ибо из очерка видно, что встреча вышла случайно, Колчак просто зашёл к Сорокиным за женой. Не аудиенция, где удостаивают вниманием, а случай. Есть разница.

¹ На самом деле фраза, запомнившаяся В. Шкловскому из рассказа «Глиняная шуба», звучит несколько иначе: «В Сибири пальма не водится...».

² Гладковская Л. Жизнелюбивый талант. Л.: Просвещение, 1988. С. 20.

С подтверждением свидетелей тоже проблема, поскольку все действующие лица давно в лучшем из миров. Как говорит Антибиотик из бандитского сериала, у мёртвого не спросишь. Единственный человек, который мог бы подтвердить или оспорить эпизод, это Анна Васильевна Тимирёва, гражданская жена адмирала, умершая в 1975 году. Очерк в «Огоньке» за 1964 год едва ли прошёл мимо неё. Там она названа актрисой. Если так, то кому-то из близких она говорила о своём впечатлении, прочитав очерк Иванова. Или предпочла умолчать. Стало быть, эпизод, всех смутивший, нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Удобно лишь деликатно сомневаться, ведь всё, что противоречит каноническому образу, отвергается.

Отечественному «иванововедению» ещё предстоит воссоздать этот образ во всей достойной его таланта полноте. Уже сегодня высказываются проницательные догадки об Иванове, который «несмотря на всенародную славу... был в чём-то трагической фигурой в нашей литературе»¹.

Допустим всё же, что скептики правы и эпизод с адмиралом мэтр придумал для пущего эпатажа благонамеренных читателей. Тогда возникает вопрос о характере беллетристического вымысла у писателей реалистической школы. Вымысел становится неотличим от правды, зачастую обретая черты мифа. Иванов мастерски творил свой миф, яркую легенду жизни. Он выражал её либо через автобиографический жанр, либо в традиционных романских формах. Старинное слово «сочинитель» идеально подходит к брату Алеуту; как раз эту-то грань таланта ценил в нём Горький.

Нечто сходное видим, например, в личности Э. Багрицкого. Психолог и невролог Института мозга Г.И. Поляков замечает о поэте: «Сам выдумывал себе биографию». Приводит чьё-то мнение: «Из всего любил устраивать себе

¹ См. предисловие Е.А. Папковой к «Дневникам» Вс. Иванова. М.: ИМЛИ РАН, 2001, С. 16.

театр». Из бесед с близкими Багрицкого делал вывод: «Рассказывал только то из своей жизни, что мог подать или в плане анекдота, или же чем мог прихвастнуть и что мог приукрасить, что могло послужить материалом для воплощения его фантастических образов, создал сам свою биографию»¹.

Картина уже знакомая. Читаем о Багрицком, думаем об Иванове и в конечном счёте начинаем размышлять о психологии литературного творчества.

Брехт где-то говорит, что есть много способов сказать правду и много способов её утаить. Встреча с Колчаком равно соответствует обеим авторским установкам. Но представим себе старого человека, уставшего от беллетристических приёмов, всю жизнь, по собственному признанию, алчущего славы и страдающего от невозможности выразить правду «о времени и о себе». Отсюда все бесконечные дневниковые рассуждения о современном романе, фантастике, реализме и прочие жанрово-тематические терзания. На финишной прямой человек алчет только правды, в том числе и о людях, с которыми сводила судьба: К. Радек, Н. Устрялов, Я. Агранов и многие другие. Среди них – Колчак, мелькнувший в крошечном эпизоде. А никто не верит...

«Куда ж нам плыть?»

В общих чертах о метаниях талантливого писателя в Сибири известно благодаря самому Иванову, а также из биографических источников. Имеется в виду, конечно, сложный процесс политического самоопределения. Ни в молодости, ни потом Иванов не скрывал растерянности, вспоминая тот тяжёлый период, когда пришлось говорить «всякие речи», печатать «очень глупые» статьи и «большевиковать». Последнее было гиперболой, неизбежной в условиях новой

¹ Спивак М. Посмертная диагностика гениальности. М.: Аграф, 2001. С. 175, 186.

(советской) власти. По приезде в Омск из Кургана летом 1917 года на конференцию печатников Иванов вскоре начинает работать наборщиком в эсеровской типографии «Земля и Воля».

Позже уверяет, что не понимал в то время разницы между эсерами и социал-демократами (т.е. меньшевиками. — *С.П.*) и потому записался в обе партии сразу, на всякий случай. Он пишет рассказы — талантливые, живописные, с выпуклыми бытовыми и этнографическими подробностями. Сотрудничает с сибирскими изданиями разного толка, часто под литературным псевдонимом «Всеволод Тараканов». В Омске тесно сходится с «королём сибирских писателей» Антоном Сорокиным, с которым был до того знаком заочно, по переписке. Склонные к эффектам, друзья объявляют о создании в городе «Цеха пролетарских писателей».

Дальнейшее тоже известно, но лишь отчасти: падение Омска, участие Иванова в бою с белочехами, затем бегство на родину, скитания и снова возвращение в «третью столицу», уже при Колчаке. Под двойной фамилией Вс. Иванов-Тараканов благополучно печатается в местной беспартийной газете «Заря», это орган «демократической и кооперативной мысли, издаваемый советом всесибирских кооперативных съездов». В газете напечатаны рассказы «Анделушкино счастье» (29 января 1919), «Рогульки» (20 апреля 1919). Своему приятелю К. Худякову, редактору эсеровской газеты «Земля и Труд», он посылает в Курган серию материалов под названием «Письма из Омска». Видимо, и нуждается (гонорары скромные), живёт по чужим углам.

По условиям военного времени Иванов не избежал мобилизации в армию Колчака, о чём он сообщает в письме Горькому летом 1919 года из Кургана («меня взяли в солдаты») и через несколько месяцев, уже из советского Омска, посылая свою первую книжку рассказов «Рогульки»: «Псевдоним поставить меня заставило то, что тогда, во времена Колчака, если бы узнали (я был тогда мобилизован),

что я пишу, мне бы пришлось плохо» (2 февраля 1920 г. из Татарска). Здесь же сообщается, что «солдатствовал», у Колчака.

В «Истории моих книг» будет рассказано о том, как Сорокин рекомендовал своего ученика редактору фронтовой колчаковской газеты «Вперёд» В.Г. Янчевецкому – впоследствии известному историческому романисту В. Яну, – фамилия которого не называется. Характеристика редактора лестная. Мог ли в девятнадцатом году начинающий литератор Тараканов представить, что через много лет они встретятся с Яном в ташкентской эвакуации? Из дневника за 22 июля 1942 года: «Сегодня вспомнил, что перед падением Колчака полковник Янчевецкий, в поезде коего "Вперёд" и газете такого же названия я работал наборщиком и писал статьи, представил меня к "Георгию третьей степени"»¹.

Бывший полковник в ту пору уже лауреат Сталинской премии за повесть о Чингизхане.

Несмотря на широкую известность Ян-Янчевецкий остаётся фигурой во многом загадочной. Питомец Санкт-Петербургского университета начал как педагог-латинист классической гимназии, занимаясь одновременно литературным трудом. В дальнейшем Янчевецкий связывает свою жизнь с международной журналистикой: сначала как военный корреспондент Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в годы Русско-японской войны и спустя десятилетие как спецкор того же агентства на Балканах, в Турции и Румынии (1914–1918). Когда международная обстановка изменилась, Янчевецкий вместе с семьёй возвращается в Россию. По воспоминаниям сына писателя М.В. Янчевецкого, отец купил «на деньги одного чудака, одинокого сибирского купца» типографскую машину, нашёлся и специальный вагон с верными людьми – так

¹ Иванов Вс. Дневники. С. 117

возникла походная типография с целью издания независимой газеты¹. Осенью 1918 года Янчевецкий оказался в Омске у Колчака, приняв должность начальника типографии и редактора фронтовой газеты «Вперёд». Сотрудничество с адмиралом, считает сын, было вынужденным, а симпатии к сибирскому революционному подполью искренними. Но вот мнение старого большевика, омского подпольщика А.П. Оленича-Гнененко: «Редакция махрово-белогвардейской газеты "Вперёд" вместе с походной типографией занимала целый поезд. Газета-поезд разъезжала по всем белым фронтам, пытаясь отравить своим ядом души насильно мобилизованных молодых солдат. Редактировал её матёрый царский контрразведчик полковник Янчевецкий»².

Лексика большевика-красногвардейца не могла быть иной. Оленич не мог знать истинных мотивов, которыми руководствовался Янчевецкий, попав в эпицентр гражданской войны. Наша версия представляется наиболее реалистичной. Интеллигент и писатель, полковник Янчевецкий оставался верен долгу офицера, он был военным агентом, выполнявшим за границей поручения российского МИДа и VII отдела Генерального штаба под «крышей» аккредитованного журналиста СПТА. В 1918–1919 гг. исход борьбы, победа той или другой стороны оставались проблематичными. Но военная агентура обязана была сохранить себя на будущее вопреки всем жизненным испытаниям. Правила спецслужб, по-видимому, всегда и везде одинаковы. К началу 1920 года финал борьбы стал очевиден, и Янчевецкий полностью посвятил себя общественной работе и литературному творчеству. Разносторонне одарённый, он заслуживает достойной биографии.

Благодаря Янчевецкому в газете обретались литераторы

¹ Янчевецкий М. Писатель-историк В. Ян. М.: Дет. лит., 1997. С. 37.

² Оленич-Гнененко А. Суровые дни // Сибирские огни. 1958. № 12. С. 123.

Н. Анов и Б. Четвериков. Фактически редактор спасал молодых людей, политически инфантильных, смутно понимавших развитие событий. Тем не менее автор «Рогулек» хорошо понимал, как опасно быть откровенным и как важно быть осторожным. Житейские уроки Антона Сорокина не прошли даром. Точнее всего, хотя и неполно, эту страницу автобиографии Иванов воспроизвёл в октябре 1939 года в письме к Сталину. Важнейший документ опубликован среди сносок к дневнику писателя, изданному в 2001 году. Отправлено ли письмо, названное заявлением, адресату или осталось черновиком в архиве, неизвестно. Обращает на себя внимание исповедальный тон охваченного ужасом автора. Внешним поводом к составлению документа послужил вызов Иванова в райком партии и партком Союза писателей в связи с новым представлением его кандидатуры в депутаты Моссовета. В райкоме бдительная сотрудница читает анкету Иванова трёхлетней давности. Разговор серьёзный.

«— Давно ли вы в партии?

— Я, — отвечаю ей, — не состою в партии.

— Но тут написано, что вы были в партии меньшевиков.

— Точно, был, в 1917 году, и был исключён из неё за выступление против войны...

И начинает читать дальше, и вопросов больше не задаёт, подозрительно хмыкая и поглядывая на меня. Затем, прочтя всю анкету, говорит:

— Вы свободны».

Как всегда — а это видно из всех автобиографий — Иванов остаётся искусным рассказчиком, даже в таком ответственном «заявлении» на имя вождя. Далее самое главное.

«А написано в анкете, да я и никогда не скрывал этого, следующее: В 1918 году я был членом партии с.-д.-интернационалистов (группа "Новая жизнь") в гор. Омске, будучи одновременно рабочим-наборщиком. Политическое мое развитие тогда стояло на чрезвычайно низком уровне,

достаточно сказать то, что в марте 1917 года, когда произошёл переворот, представители двух партий, меньшевики и эсеры, в гор. Кургане предложили мне вступить в партию, то я, чтобы не обидеть знакомых, сразу вступил в обе партии, не видя между ними никакой разницы. Теперь это может прозвучать остроумно, но тогда я не острил. Итак, в 1918 году, при наступлении чехов, я вступил вместе с членами с.-д.-интернационалистов в Красную гвардию и сражался до отхода советских войск из Омска. Меня забили на охране пороховых складов. Я уехал в посёлок, но вынужден был оттуда бежать, так как мой брат, случайно, убил отца, и казаки обвиняли меня в убийстве, так как мой отец был монархист, а про меня они знали, что я бывший красногвардеец. Я вернулся в Омск и поступил в типографию. Я долго мучился, ожидая ареста. Однажды, уже осенью 1919 года, ровно, пожалуй, двадцать лет назад, меня на улице Омска встретил типографщик и редактор кадетской газеты в Кургане Татаринов, у которого я когда-то конфисковал типографию, схватил меня за руку и кликнул полицейского. Я ударил его слегка по уху, он упал. Я скрылся. Я пошел к своему знакомому, сибирскому писателю А. Сорокину, и тот предложил мне поступить в типографию "Вперёд", выпускавшую такую же, под тем же названием, колчаковскую газетку. Я поступил туда, будучи представлен редактору как писатель-наборщик. Газетка выходила в количестве 500 экзмп. Не подумайте, что малым тиражом пытаюсь снизить свою вину. Она так же громадна и так же мучит меня эти двадцать лет, как если б я писал в "Тан" или "Таймс". Словом, редактор попросил написать ему рассказ, затем статью. Я не хотел показывать ему, что не хочу или что я бывший красный, да и, по совести говоря, я устал и замучился. К тому же и семейная моя жизнь была не сладка. Словом, я написал в эту газетку несколько статей, антисоветских, и один или два рассказа. Позже, в этой же типографии, я сам набрал и напечатал книжку

своих рассказов, но ни одной статьи и рассказа из тех, о которых я говорю, я не включил¹. Это легко проверить, так как эта книжка у меня имеется. И опять-таки я не хочу этим снижать своей вины, а просто указываю на то, что я и тогда чувствовал своё паденье. Больше за мной никаких антисоветских поступков не числится.

Вот об этом обо всём и написано было в моей анкете. Я полагал, что я не скрывал своего преступления, и если за него следовало судить, то можно было судить давно. Я полагал также, что своё преступление я загладил честной и неустанной работой для советской власти и коммунистического общества, – работой, начатой в 1921 году»².

Так пишут из тюрьмы. И так, мы знаем, обращались на «высочайшее имя» (к Сталину, Ежову, Молотову, Вышинскому) арестованные Киршон, Бабель, П. Васильев, Мейерхольд... Иванов же на свободе, а пишет, будто уже за решёткой. Он демонстрирует поразительное чувство жанра: по форме – заявление, жалоба, фактически – покаяние с элементами как бы устного рассказа, доверенного чистому листу. На языке военно-дипломатическом это называется превентивными мерами. Концовка документа рассчитана психологически безошибочно. Автор заявления просит сурового наказания (заключение, суд) и даже «всё, что нужно» – уж не высшую ли меру?.. Комментарии излишни.

Вернёмся в Омск сентября-октября 1919 года. К сожалению, писем Иванова за этот период, так же, как и антисоветских статей, пока не обнаружено. Голос героя не слышен. Есть только свидетельства, написанные с разной степенью достоверности. Одно из нелицеприятных принадлежит писателю-сибиряку Кондратию Урманову. Он пишет, что перед

¹ В письмо вкралась ошибка памяти: в сборник «Рогульки» автор включил невинный в политическом отношении рассказ «Клуа-Лао (китайский бог зла)», напечатанный в газете «Вперёд» 30/17 июля 1919 г., № 102.

² Иванов Вс. Дневники. С. 339–340.

освобождением Омска частями 5-й Армии Иванов вместе с женой покинул город, поддавшись «общему психозу». Омск был взят 14 ноября. Колчаковские эшелоны ушли раньше. Решение Иванова названо современником «сумасбродной мыслью», ибо «его никто не гнал, не преследовал, да и там, у Тихого океана, его никто не ждал»¹. Может быть, Д. Бурлюк? Сам Иванов в автобиографии, предназначенной специально для бюллетеня ВОКСа, утверждал, что видел прибой Тихого океана² (это не соответствует действительности, поскольку противоречит собственному утверждению, что он «никогда не был на Дальнем Востоке») ³.

Подробности сибирского маршрута вызывают ряд вопросов. Многое остаётся неизвестным, о чём-то Иванов умалчивал. В одном из очерков скупое сказано: «После того, как колчаковщина была разгромлена, я очутился в небольшом городке Татарске. Очутился я тут случайно. Я возвращался из Новосибирска в Омск в поезде и по дороге захворал тифом. Со мной ехал известный теперь ленинградский писатель Д. Четвериков. Когда я впал в беспамятство, он почувствовал, что моя болезнь в поезде может окончиться плохо. /.../ Четвериков высадил меня на станции Татарск и сам остался здесь вместе со мною. Благодаря его заботливости и уходу я выздоровел».

Не странно ли, что о первой жене в очерке ни слова, Борис Четвериков упомянут впервые ⁴, а читателю предложено гадать, что же кроме тифа заставило писателей повернуть обратно? К счастью, попутчик Иванова тоже выжил, прожил долгую жизнь и тоже оставил автобиографические записки о совместной «сибирской эпопее». В его неопубликованных воспоминаниях отмечается, что Н. Анов «уехал из Омска в вагоне Ян-

¹ Урманов К. Наша юность // Сибирские огни. 1965. № 2., С.168.

² Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Информационный бюллетень. 1927. № 28–29. С. 7.

³ Иванов Вс. История моих книг // Наш современник. 1957. № 3. С. 144.

⁴ Четвериков Борис Дмитриевич (1896–1981) – автор многочисленных рассказов и повестей, мемуарной книги «Всего бывало на веку» (1991). В юные годы печатался как «Д. Четвериков». У Иванова в «Истории моих книг» не упоминается.

чевецкого, они укатали куда-то далеко, может быть, даже на Дальний Восток. А Всеволод Иванов с женой попал в злосчастный вагон, где обитали типографские рабочие, где горе мыкал и я!»).

Они бежали вслед за адмиралом и, если бы не красногвардейский отряд на станции Ояш близ Тайги, кто знает, – быть может, добрались бы до Владивостока, к Бурлюку, который несколькими месяцами ранее проделал нелёгкий путь по Транссибирской железнодорожной магистрали дважды: сперва один, потом с семьёй.

Красные завернули беженцев обратно. Как вспоминает Четвериков, «вскоре наш состав двинули – и не вперёд, не на восток, как мы ехали всё время, а в сторону Челябинска. Правда, это было недолго.

В Новониколаевске, куда мы в конце концов всё-таки добрались, нас зарегистрировали в профсоюзе печатников.

– Расстрелять бы вас надо, а не записывать в работники печати, – беззлобно и, так сказать, не агрессивно, а больше для порядка произнес усталый и, видимо, не спавший уже много ночей коротко стриженный бобриком человек, прищёлывая на наши удостоверения печати.

– Хватит уж, – показал в сторону вокзала Потёмкин, – наколотили. Кого-то и уберечь надо. Авось да сгодятся».

Описание болезни товарища выдержано в сугубо прозаических тонах и с подобающим уважением к жене Иванова – она самоотверженно ухаживала за больным мужем.

«Всеволод Иванов в пути заболел сыпным тифом. Маруся Синицина с ужасом прислушивалась к разговорам рабочих: "Снять придётся на первой же станции"... "Да уж, миндальничать не приходится – всех перезаразит"... Понять их было можно: сыпняк – это значит смерть, вся трасса сибирской магистрали усеяна мертвецами и в основном – жертвами тифа. А у нас тут и женщины, и дети, теснотища, пьём из одного бака, едим тут же, на нарах... Выбор был простой: одному умирать или всем, всему вагону.

Я не кичусь, не ставлю себе в особую заслугу и подвига никакого не вижу в моем поступке, но именно я уговорил рабочих не выбрасывать Всеволода, а отвести ему и ухаживающей за ним Марусе один отсек, крайний отсек вагона, и изолировать его там. Подумав, рабочие приняли мой проект, к великой радости Маруси (Всеволод-то бредил, метался в жару и ничего не понимал). Вагон был допотопный, четвёртого класса, с тройными нарами и несколькими секторами, причём каждый отделён вагонкой и снабжён дверью. И вот один – крайний – сектор наглухо заколотили и поместили там Всеволода с Марусей. У них оказался свой выход из вагона, а у всех остальных, отгороженных от тифозного перегородкой с плотно запертой, забитой внутренней дверью, был второй выход – на противоположном конце вагона. Пищу и воду доставляли "карантинникам" через их вход с улицы, это было нетрудно, так как наш поезд чаще стоял, чем двигался.

Возвращение беженцев, как уже известно читателю, было приостановлено в Татарске.

Новый старт

Здесь по выздоровлении Иванов участвует в работе местного наробраза, заведует театральной секцией агитроба, читает лекции и наездами бывает в советском Омске – на разведке: каково там после Колчака? не пора ли возвращаться? При содействии управделами Омского губисполкома А.П. Оленича-Гнененко, отчасти благодаря хлопотам Сорокина летом 1920 года он возвращается в Омск для трудоустройства. В конце июля уже числится на должности заведующего информационным отделом журнала «Красный Путь», в августе назначается заместителем заведующего информационно-инструкторским подотделом в редакцию газеты «Советская Сибирь»¹.

¹ Государственный исторический архив Омской области (далее – ГИАОО). Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 293. Л. 5, 37.

Живёт Иванов тихо, пишет «Фарфоровую избушку», в собраниях возникшего ЛИТО не замечен. Похоже, сознательно избегает публичных встреч с омскими литераторами. Сохранилась анкета, заполненная им при поступлении на советскую службу. Некоторые ответы представляют интерес, например:

«Какие должности занимали и где по 1914 г., а с 1914 г. по 1917 г.?

Ответ: В союзе Сибирской маслодельной артели.

– К какой политической партии принадлежит, если не принадлежит, то какой сочувствует?

Ответ: Р.К.П. (подчёркнуто Ивановым. – С.П.)

– Подвергались ли репрессиям за политические идеи, где и когда?

Ответ: Был под судом Колчака в г. Кургане, июне м-це 1919 г.

– Ваше отношение к Советской власти?

Ответ: **сочувственное**¹.

Относительно колчаковского суда биографам Иванова ничего не известно, зато о судьбе выпускающего редакции «Советской Сибири» известно достаточно: благодаря Горькому Иванов покидает Омск. Уже в начале февраля 1921 года он «на берегах Невы». Полный новых творческих замыслов энергичный сибиряк легко входит в литературную среду Петрограда, оваянный легендами, над которыми сам же и смеялся. В письме к А.Н. Толстому через год с лишним веселился от души: «...откуда Вы взяли, что я пришёл пешком из Сибири? Поди, Горький сказал. Чудак. А я приехал в международном вагоне. Впрочем, это дело плёвое»². В том же 1922 году в Питер приехал и Четвериков. Встреча была тёплой, дружественной, им было что вспомнить. Иванов с гордостью показывал товарищу изданных «Партизан»,

¹ ГИАОО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 293. Л. 1 – л. 1(об).

² Вопросы литературы. 2007. № 2. С. 340.

открыв «под большим секретом», что написал эту повесть за две недели. Провинциал Четвериков и не подозревал, что встретился с «наглядным аргументом революции» и надеждой новой социалистической культуры, как охарактеризовал Иванова критик А. Воронский. Но он же назвал Иванова «лукавым писателем». Из воспоминаний Четверикова:

«Да, да, в две недели отмахал книжицу! – говорил Всеволод, пока я листал "Партизан". – Никому не признаюсь, а тебе можно. Всем говорю, что ещё в Сибири написано, всем интереснее, чтобы в Сибири. Но нашлись ухари, которые печатно врут, будто я писал "Партизан" пять лет. Вот это уже пересол! Тогда выходит, что я начал эту работу в 1916 году? Хоть бы призадумались, чудики, прикинули бы! Ведь получается, что я о сибирских партизанах и советской власти начал писать еще в годы царствования Николая Второго, за год до революции, когда никаких партизан вообще не водилось, разве что те, кто бил Наполеона! Но я ничего, пускай, я вообще не вступаю в объяснения ни с критиками, ни с рецензентами. Ну их к Богу в рай. Надо было бы еще уверять, что стола не было, писал на пне и два раза рукопись дикие козы съедали. Приходится фантазировать, положение обязывает.

– И правильно делаешь, – одобрил я. – Мне это даже нравится. И ты фантазируешь, и они фантазируют, каждый на свой лад. Честь и хвала. Не надо мешать друг другу.

Помявшись, Всеволод отыскал на книжкой полке и сунул мне в руки ещё одну книгу, почему-то хихикая, покачивая головой и как бы заранее каясь:

– Почитай ещё на сон грядущий. Автобиография. Я тут малость приврал, но, по-моему, иногда полезно приукрасить, а то и читать не будут.

Я прочитал сразу же. Читал и веселился. Это была совсем не автобиография. Это был забавный детектив, увлекательно написанный рассказ – с невероятными казусами, приключениями героев, очень характерный именно для Всеволода.

Чего тут нет! И выстрелы, и обыски, и – как полагается – блестящие колчаковские офицеры».

То, что Четвериков называет книжкой, было скорее всего одним из журналов, где появилась автобиография, известная под разными названиями. Автор неоднократно перепечатывал её, внося каждый раз дополнения, что-то сокращал, делал необходимую правку в соответствии со временем публикации.

«В то тревожное время, когда адмирал Колчак играл самую жалкую роль при крушении всей своей искусственно сколоченной империи, Всеволод – я рассказывал об этом – был в тифозном бреде. Даже когда мы поселились в Татарске, и тогда Всеволод был ещё в очень плохом состоянии и мало чего понимал в происходящем. Уж о чем – о чем, а о том страшном времени, когда мы оба только случайно уцелели, я могу говорить со всей достоверностью. И я от души смеялся, читая о невероятных приключениях моего дорогого факира и глотателя шпаг. Как он, будучи в полусознании, в тифозном жару, отбивался от типографских рабочих, угрожая им наганом и чуть не отстреливаясь... Как в вагон вбежал "безусый прапорщик", колчаковский офицер, и отобрал у Всеволода "шинелишку" (значит, Всеволод был военный?)... Как прапорщик дал Всеволоду взамен "бобровую шинель" (что-то я ни на ком не видел бобровых шинелей, и вообще-то к описываемым событиям колчаковский офицер не мог иметь отношения, так как колчаковские полчища, преследуемые 5-й Красной армией, были уже далеко, где-то под Иркутском, когда Всеволод болел тифом, так что и офицер в своей бутафорской бобровой шинели никак не мог заскочить к нему в вагон)... Затем Всеволода схватил "партизан-кержак" и хотел пристрелить, но увлёкся богословским спором о том, есть Бог или нет Бога, и в результате, не пристрелив Всеволода, "убрал наган, плюнул и ускакал" ("кержак", то есть старовер, раскольник, с винтовкой в руках да еще в составе красных войск – фигура опереточная: старо-

веры уклонялись от военной службы)... Но и этим приключения не кончались. Всеволода арестовали в Ново-Николаевске и повели на расстрел, но его спас "наборщик Николаев в будёновке с ярко-красной звездой и рукой на перевязи"...

Автобиографического здесь было мало. Может быть, совсем не было. Очень, правда, увлекательно, но всё, конечно, чистейший вымысел, творчество, кстати, мало отражающее события в Сибири в дни колчаковщины. Всеволод превращает жуткую кровавую трагедию, разыгравшуюся в Приуралье и на просторах Сибири в 1918–1920 годах, в смешной фарс, в приключенческую пустяковину. Но у Всеволода, очевидно, не было выбора: читатель ждал новых и новых произведений "своего" писателя (в те годы существовал неистовый, неутолимый, жадный читатель, требующий книг, и литература стояла тогда наравне с хлебом насущным, то есть так же была нужна, необходима, так же ценилась, как пища, как топливо и как жильё), а писать о своих тифозных буднях – скажите откровенно, разве это годится для факира и шпагоглотателя? Словом, захотелось ли Всеволоду позабавиться, или был чей-то издательский или читательский заказ, но факт тот, что "Автобиография" была написана и издана. Неправдоподобно, не так, как было с ним в жизни. Но – забавно, весело, лихо. Тоже, как мне кажется, в духе "Трёх мушкетеров". Я прочитал, посмеялся и похвалил.

Что ж, правда, живописно изображено, ничего не скажешь. И я ничуть не в обиде ни на этот выдуманный Всеволодом наган, ни на то, что моя скромная личность вообще отсутствует в этой "автобиографии". Уж о себе-то самом каждый может рассказывать так, как ему заблагорассудится. И если кому так хочется, кто воспретит ему о чем-то умолчать, что-то подправить, что-то приукрасить, недаром говорится, что врать – не мякину жевать, не подавишься».

«Случай» в тексте Иванова прокомментирован мемуаристом с понятной и в общем доброжелательной иронией сведущего человека. Расстрел в то время вполне мог быть

реальным фактом, поскольку бессудные расправы стали обычным явлением. К финалу фрагмента ирония сменяется следующими умозаключениями.

«И всё-таки мне почему-то было неприятно читать эту псевдоавтобиографическую фантазию. Ведь в ней не упоминался даже Янчевецкий, который тоже, как и я, но при других обстоятельствах спас жизнь Всеволоду, зачислив его наборщиком в своей полуфиктивной "фронтовой" газетке. Как же не рассказать об этом?

Но я уверен, что Всеволод сделал это не со зла, не вследствие чёрной неблагодарности.

Во-первых, у Всеволода были, очевидно, какие-то причины, чтобы вообще не рассказывать о периоде колчаковщины, о том, как мы болтались между жизнью и смертью в самом, можно сказать, водовороте, где-то между Омском и Тайгой, пока свирепая волна не выбросила нас со Всеволодом в благословенном городе Татарске с его одной фактически улочкой, откуда в ту сторону и в эту сторону видна унылая Семипалатинская степь.

Вторая, а может быть, и главная причина фантастической автобиографии – это вообще склонность Всеволода к фантазированию».

Напомню читателю, что в автобиографическом рассказе героя чуть не повели на расстрел за фамильное сходство с другим Ивановым, тоже Всеволодом и тоже литератором¹. Счастливое появление знакомого комиссара в роковую минуту – более чем удачная находка автора. Комиссар уверяет конвойных, что арестованный есть «совсем большевик». Невдомёк ему, что бывший наборщик курганской типографии работал и печатался в колчаковской газете. Этакая перемена. Правда – хорошо, а счастье, действительно, лучше.

¹ Иванов Всеволод Никанорович (1888–1971) – писатель и журналист. В годы Гражданской войны работал сначала в Пермском университете, позже в Омске как сотрудник «Русского бюро печати» при Колчаке. Эмигрант. Автор «Записок омского журналиста», «Поэмы еды» и др. произведений.

Стараясь сохранить объективность, Четвериков, конечно, пристрастен, как всякий мемуарист, только – в отличие от Сорокина – пристрастен по-доброму. Тот же упорно твердил о страхе Иванова быть расстрелянным сначала в 1918 году, когда Омск заняли чехи, потом незадолго до вступления в город одной из дивизий Тухачевского.

1918 год: «Я помню, перед бегством Иванов говорил: "Столько мы с вами натворили, надо бежать, а то Вас расстреляют чехи". Вернувшись и увидев меня, Иванов удивился: "Живы". На это я ответил: "Во время революции следует изгнать всех писателей, а таких мерзавцев от литературы, как мы с Вами, и не будут расстреливать ни красные, ни белые, потому что наш талант продажен».

1919 год: «В сентябре Иванов уже пьянствует за одним столом с белогвардейцами и убеждает Антона Сорокина бежать: "Расстреляют большевики"...»¹

Что возразить? Да, боялся. Ничего постыдного. Теперь, когда нет нужды идеализировать большевиков и демонизировать Колчака, становятся как-то особенно понятны метания людей в страшную годину национальной катастрофы, «русской Вандеи» на огромном пространстве от Балтики до Тихого океана. Будем понимать, что тот, кто посетил этот мир в роковые минуты, совсем не блажен. Великий поэт ошибся.

Счастье жить

Успех молодого писателя можно без преувеличения назвать феноменальным. Звезда Иванова всё ярче разгоралась на литературном небосклоне. Имея статус «пролетарского», он в то же время свой у «серапионов», брат Алеут.

Много пишет, широко печатается, талантливая проза Иванова нарасхват. По крайней мере трижды кандидатура авто-

¹ ГИАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 127. Св. 3. Л. 6, 7.

ра «Партизанских повестей» предлагается для заграничных поездок: в Японию (с Пильняком) и по Америке (совместно с Никулиным) – значит, выездной¹. В 1928 году начинает выходить собрание сочинений, для любого литератора это праздник. У него новая жена и новое место жительства – Москва, Тверской бульвар, 14.

Между тем в Омске неугомонный Сорокин затевает яростную кампанию против «перекрасившегося» в красный цвет бывшего друга. В Москву летят разоблачения, продиктованные завистью, обидой и наивным провинциальным правдоискательством. Счёт предъявляется серьёзный. Мастер литературных скандалов и эпатажных трюков Сорокин оставил несколько образчиков убойного, как ему казалось, компромата (копии сохранились в его архиве). В очерке «Ресторан "Модерн"» содержалась откровенная клевета:

«"Партизаны" и "Бронепоезд" Всеволода Иванова для меня не представляют большого интереса, потому что эти произведения я читал в рукописях, когда Вс. Иванов был редактором передвижной колчаковской газеты "Вперёд", самой беспощадной и клеветнической, так как эта газета получала деньги от французской и японской миссий. Теперь только произведения Иванова перекрашены в красный цвет. Такие неискренние произведения не должны представлять интереса».

Далее обыгрывается тема вагона, который медленно тащится по заснеженному Транссибу на восток. Это тема молодого Иванова. Но что делает Сорокин? Он скопом усаживает в один вагон всех литераторов, сотрудничавших в колчаковской прессе: поэтов Г. Маслова и В. Язвицкого, самого В. Янчевецкого и, разумеется, Вс. Иванова. Офицеры пьют вино, едят шоколад, поэты читают стихи, Иванов – отрывки из «Бронепоезда». Янчевецкий будто бы хвалит талантливую наборщика: «Вы большевиков-то русскими сочными матерными словами жарите...»

¹ По неизвестным причинам обе поездки, кроме европейской, не состоялись.

Сорокин не жалеет чёрной краски. Читаем: «И не знал авантюрист Янчевецкий, что своими замечаниями подготавливает для толстого большевистского журнала "Красная Новь" гордость пролетарской литературы. Простительно, кто же знает будущее... Пьёт Всеволод Иванов вино и говорит:

— Я их ещё не так могу, слов ругательных у меня много»¹.

Сорокин густо смешивал факты с фантазиями, правду с клеветой, и разобраться в этом вареве не так-то просто. В одном из писем, отправленных в Москву, с гордостью заявлял: «Я не скрываю — я авантюрист от литературы и тому же выучил и своего ученика Всеволода Иванова»².

Сын писателя Вячеслав запомнил такой рассказ отца. Однажды Дзержинский в знак благорасположения прислал ему «все доносы, поступившие на него за истекший год. Не распечатывая пакета, Иванов швырнул его в топившийся перед ним камин»³.

Инициатор известен. В бумагах Сорокина находим прямое подтверждение непосредственного участия в разоблачительной кампании. Ничто не останавливало жестокого пера: «Пришла слава... А затем письмо: "Антон Семёнович, я прекращаю с Вами переписку". А полученные письма содержали многое, что не следовало писать. Так, Иванов пишет: "Работаю по Вашему способу, плюю в потолок, жру пельмени, пьянствую, а "Голубые пески" по Вашему способу катает Четвериков". Всё это, конечно, мною было сообщено в центр, и Иванова несколько раз вызывали из Петрограда на объяснения»⁴.

Доносительство провинциала с репутацией шута и параноика не возымело последствий, чекисты не трогали Иванова. Да и Сорокин, больной туберкулёзом лёгких, вскорости поутих.

¹ ГИАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 38. Св. 1. Л. 12.

² Там же. Д. 375. Св. 10. Л. 31.

³ Литературная газета. 1995. № 8. 22 февраля.

⁴ ГИАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 127. Св. 3. Л. 8.

В разные годы «ученик» по-разному отзывался об «учителе», в зависимости от привходящих обстоятельств. Обида жила в нём. Однако под старость Иванов простил омского друга, написав следующее: «Многие в Омске называли его сумасшедшим. Я знал его в течение трёх или четырёх лет и, должен сказать, не встречал человека разумнее его».

У Иванова имелись все основания сказать так, вопреки сложившейся легенде о человеке, который озорно именовал себя «гением Сибири».

Путь во времени

Жена писателя Тамара Владимировна со знанием дела пишет, что творческая судьба Вс. Иванова «сложилась очень странно. Как на качелях: вверх-вниз. И он склонен был винить в этом только самого себя, свой характер».

Трудно привыкнуть к качелям эпохи, если очень долго они держались на высоте, многим недоступной. Ещё дольше качели Иванова были внизу: последние двадцать с лишним лет живой классик фактически оставался вне литературного процесса. Неужели виной всему характер? Лукавое умозаключение и слабое утешение. Иванов, однако, мужественно сносил неудачи новых, отвергнутых издателями, романов и драмы невоплощённых замыслов. Его «случай» стоит в одном ряду – разумеется, с поправками на индивидуальность – с целым рядом других «случаев»: Зощенко, Булгакова, Бабеля, Ахматовой, Олеси, Платонова, Мандельштама. Всё, что произошло с этими писателями, наивно объяснять одним лишь характером. Ответ на подобные проблемы даёт такая замечательная дисциплина, как история литературы.

Листаю рапповский сборник «С кем и почему мы боремся?» (М.-Л., 1930), составленный из статей авторов журнала «На литературном посту». Редакционная статья, где с страстием разбирается повесть «Гибель Железной», снабжена подзаголовком «Куда идёт Иванов». Цитирую только

концовку с нешуточной угрозой: «Вс. Иванов должен себе ясно отдавать отчёт в том, что дальнейшее использование психологического метода, распространение его на изображение различных сторон социальной жизни, дальнейшее следование по избранному им художественному пути раньше или позже превратит его, несмотря на исключительное художественное мастерство, в писателя, который в СССР нужен не будет» (с. 66). Что же это? А это «год великого перелома» и «реконструктивный период», когда железной хваткой брали за горло, отнимали имущество и саму жизнь.

Иванова шпыняют за книгу рассказов «Тайное тайных». Не ко двору и повесть «Особняк», там ненавистный рапповцам психологизм является средством развенчания мещанства в лице главного героя Ефима Чижова. «Идеология творчества» объявлена чуждой партии и пролетариату, «нутро» (психологизм плюс биологизм) противопоставлено классовому сознанию. Оттого невинные фразы ивановских персонажей рассматриваются под увеличительным стеклом как авторазоблачения. «Сердце знает, а не я» («Гибель Железной»). «Выживают, братишка, те, которые привыкли жертвовать не по сознанию, а по телу. Чтоб нутром, как трава растёт. Понял...» («Операция под Братчино»). Концовка рассказа лаконична: «Я промолчал»¹. Молчание героя – рассказчика – равносильно тягостному осознанию того, что такие простые, но важные для каждого человека слова, как сердце, тело, нутро в новых условиях почти утратили привычную теплоту. Бедные слова.

Жизнь в XX веке с нечеловеческой скоростью ставила перед беспартийными, демократически настроенными, писателями дилемму: с кем ты? на чьей стороне? За царя или с народом? С белыми или красными? За Сталина или за Троцкого? С пролетарскими авторами или с попутчиками?

¹ В издании 1959 г. (Собр. соч., т. 3) концовка изменена, но год написания оставлен прежний: 1924.

За генеральную линию ЦК или за «правый уклон»? и проч. К концу двадцатых годов проблема выбора, от которого зависела судьба человека, всех утомила. Иванов, певец «нужды», не исключение. На фоне бесконечных литературно-политических склоков автор «классических» произведений советской литературы стал казаться некоторым деятелям фигурой двусмысленной. Споры об «Особняке» и сборнике «Тайное тайных» показательны. Даже А. Воронский, открывший Иванову путь в большую литературу, вынужден был осторожно констатировать весьма тревожный факт: талантливый писатель «теряет бодрость и оптимизм». Уже начали внушать читателю, что Иванов подаёт дурной пример молодым литераторам. Так, рецензент журнала «Октябрь» увидел в рассказе И. Макарова «Остров» сочувствие к классовому врагу – жалеть кулака строжайше запрещено, «это не путь пролетарского психологизма, это путь Всеволода Иванова, намеченный им в книге "Тайное тайных"». Такие обобщения не сулили ничего, кроме соответствующих оргвыводов. Для Иванова, как и для многих литературных современников, действительно наступил переломный момент. Путь советского писателя и гражданина требовал проверки на выживание. И он выжил, искренне стремясь стать другим, актуальным и созвучным эпохе, но совсем не таким, каким хотели видеть его большевистские критики, вскоре уничтоженные Хозяином.

Прошли годы. Он ушёл из жизни с ощущением не высказанной до конца правды, в том числе и правды о себе. Творческий путь Иванова мог быть иным – не будем гадать, каким именно, – но другим, если бы... Впрочем, сослагательного наклонения не терпит и литература. Что было – то было.

СТИХОТВОРЕНИЕ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА «ЭРЦИНСКИЙ ЛЕС»



I

Известное стихотворение, давшее название одноимённому сборнику 1946 года, представляет несомненный интерес для историка литературы. Это счастливый повод поразмыслить не только о художественной самооценности текста, но и о том, в какой мере его публикация была гражданским поступком Мартынова. Воистину, слова поэта – суть дела его.

Начать с того, что стихотворение стало известно прежде всего омичам, не имело названия, а главное, появилось в сокращённом виде как первая часть триптиха «Глубокий тыл»¹. На фоне этнографических и военных, привязанных к текущему историческому моменту реалий, голос лирического героя звучал странно, создавалось впечатление, что призывы, обращённые к современникам, лишь формально контаминируют со страной «Сибирь – Холодырь» и с тыловым Омском, похожим на огромный снежный пустырь в окружении бесконечных заборов. Шла война, и никому не было дела до поэтических нюансов. В тематическом контексте всего патриотического

¹ Омская правда. 1945. 4 марта.

цикла первая часть как бы выполняла функцию мажорной увертюры, не вызывая лишних вопросов.

Я не таил от вас
Месторожденья руд.
«Пусть ваш ласкают глаз
Рубин, и изумруд,
И золотой топаз,
И матовый янтарь.
Всё, что найдется тут, –
Для вас!»
Так пел я встарь.
Я звал вас много раз
Сюда, в Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес.
Я звал вас много раз
И на степной простор,
Где никогда не гас
Охотничий костёр.
Я звал вас в пыльный рай
Необозримых стад
И в область птичьих стай,
И в заполярный сад.
Я звал вас в этот край
Делить всё, чем богат!
Делить всё, чем богат,
Я буду с вами рад!

Пейзаж «глубинки» военных лет во втором и третьем стихотворениях цикла не ограничивался приметами «морозного, косого, деревянного» Омска, но расширился до громадных просторов всего Лукоморья:

Могучая Обь,
Золотой наш Иртыш,
Ангарские ясные воды!

И никто, конечно, не мог догадаться, что запев об Эрцинском лесе был наброском самостоятельной темы в творчестве поэта середины сороковых годов.

Ранней весной 1945-го в московском издательстве «Советский писатель» вышел сборник Мартынова «Лукоморье». На стр. 9 знакомый текст... без какого-либо упоминания Эрцинского леса! Если первая строфа в точности совпадала с началом из «Омской правды», то отсутствующий топос во второй существенно обесмысливал всю лирическую композицию. Выходило, что призыв лирического героя не сопровождался конкретным адресом: степной простор и охотничий костёр легко найти в любой географической точке необъятного СССР.

Я звал вас много раз
И на степной простор,
Где никогда не гас
Охотничий костёр.

Из следующей строфы оставалась лишь первая половина, та, в которой лирический герой зовёт своих воображаемых собеседников «в пыльный рай необозримых стад», а строки

И в область птичьих стай,
И в заполярный сад –

исчезали после многоточия. Концовка стихотворения получалась скомканной. В какой именно край манил поэт, оставалось загадкой.

Спустя несколько месяцев «Литературная газета» (1945, 1 декабря) напечатала полную редакцию стихотворения под

названием «Эрцинский лес». Эта публикация, за вычетом незначительных авторских корректив, легла в основу канонического, воспроизводимого во всех позднейших изданиях, текста.

В начале 1946 года в книжных магазинах Омска появился стихотворный сборник «Эрцинский лес», изданный Омгизом. Автор предусмотрительно объяснял читателям название, для многих экзотическое и непонятное¹. Это было сделано в виде небольшого отрывка из сочинения Николая Спафария, отпечатанного на отдельном (титульном) листе и выполнявшего, по воле автора либо издательства, функцию поясняющего эпиграфа.

Кто же такой Николай Спафарий? В исторической литературе и старинных российских документах он известен как сын молдавского боярина Николае Милеску (1635–1708). Высокообразованный полиглот, учившийся в Италии и Константинополе, Милеску по возвращении домой некоторое время служил у молдавских господрей и получил звание «спатар», что можно перевести как «хранитель оружия», «оруженосец». За участие в политических интригах, сообщают источники, «ему был урезан нос», и он бежал в Россию. В Москве Милеску приняли на должность переводчика в Посольский приказ, здесь он выполнил первое поручение – сделал перевод латинской надвратной надписи с внутренней стороны Спасской башни московского Кремля. Текст гласил: «Иаанн Васильевич божиею милостию великий князь владимирский, московский, новгородцкий, тверский, псковский, вяцкий, угорский, пермский, болгарский, и иных, и всеа Росии го-

¹ Омский журналист М. Бударин писал об «интригующем заголовке» новой книжки Мартынова, назвав свою заказную рецензию просто – «На ложном пути». Такое название родилось, по-видимому, в верхних эшелонах власти и предназначалось на все случаи неправильной литературной жизни. Например, в феврале 1953 г. «Литературная газета» напечатала редакционную статью о романе В. Гроссмана «За правое дело». Она называлась... Да, не трудно догадаться, – «На ложном пути».

сударь в лето в 30-е государства своего сии стены созда, строитель же бысть Петр Антоний Сонъарии медиоланянин в лето от рождества Спасителя 1493-го, а переводил тое латинскую подпись посольского приказу переводчик Микалос Спотали»¹. Этого человека на Руси стали именовать Спафарием.

Появившись в последние годы царствования Алексея Михайловича, Спафарий обрёл влиятельных покровителей, занимался сочинительством и переводами, а в 1675 году его назначили главой дипломатической миссии в Китай. В ряду сочинений Спафария особое место занимает дорожный дневник, озаглавленный автором так: «Книга, а в ней писано путешествие через царство Сибирское от города Тобольска и до самого рубежа государства Китайского, лета 7183, месяца мая в 3-й день».

Леонид Мартынов смолоду проявлял живейший интерес к истории Сибири, к путевым запискам как иностранных, так и русских «земноописателей». Отнюдь не случайно поэт пробовал поступить в 1927 году на географический факультет Ленинградского университета. Понятно, что он не мог пройти мимо трудов Спафария. Цитата, предваряющая сборник «Эрцинский лес», заслуживает того, чтобы привести её в более полном виде.

«А лес по Иртышу есть разный, и по займищам, что близ вершины её, суть горы каменные, и лесные, и безлесные. А после того степь великая и песчаная. А потом следует лес тот, который идёт и по Оби-реке, и по всему Сибирскому государству до самого до Окианского моря, который преславный есть и превеликий и именуется от земноописателей по-еллински "Эркиниос или", а по-латински "Эрциниос силва", се есть, Эркинский лес; и тот лес идёт возле берега Окиана и до Немецкой, и Французской земли, и далее, и чуть не по всей земле, оттого и первый лес на свете

¹ Повести о начале Москвы. Под ред. М.А. Салминой. М.-Л.: Наука, 1964. С. 180.

и преименитый у всех земноописателей есть, однако же нигде нет такого пространного и великого, как в Сибирском государстве»¹.

Критик, заинтригованный названием сборника, искренне сокрушался: «Мифический Эрцинский лес – это символ мартыновской поэзии. <....> Но, отождествляя свою поэзию с лесом (? – *С.П.*), который вознёсся к небесам и глубоко ушёл корнями в народ, автор грустит:

В снегах Эрцинский лес,
В снегах Эрцинский лес»².

Грусть поэта казалась подозрительной. Кремлёвская кампания против журналов «Звезда» и «Ленинград» послужила тем зловещим фоном, на котором охота за «безыдейными» и «аполитичными» литераторами стала модным спортом. Мартынов был идеально удобной мишенью для энергичных стрелков. Они понятия не имели о Спафарии, поэтом и считали этот лес мифом, хотя на самом деле такой природный феномен некогда существовал. Как писал английский антрополог Д. Фрэзер, «на заре истории Европа была покрыта безбрежными первозданными лесами, и разбросанные там и сям расчищенные участки представляли собой островки в океане зелени. Вплоть до I века до нашей эры к востоку от Рейна простирался Герцинский лес, протяжённость его была огромной: германцы, опрошенные Цезарем, путешествовали по нему в течение двух месяцев и не достигли конца. Четыре столетия спустя этот лес посетил император Юлиан, и его уединённость, мрак и молчание произвели глубокое впечатление на чувствительную душу императора. Он объявил, что не видел ничего подобного во всей Римской империи»³.

¹ Спафарий Н. Сибирь и Китай. Кишинёв, 1960. С. 40.

² Сибирские огни. 1947. № 2. С. 115.

³ Фрэзер Д. Золотая ветвь. М.: Аст. 1998. С. 121.

II

Здесь требуются некоторые историко-литературные и биографические комментарии.

Всесоюзная известность пришла к Мартынову с опозданием по крайней мере на десять лет. Издательские неудачи сопутствовали ему с конца двадцатых годов. Так, из-за ожесточённого политического интриганства группы «Настоящее» в 1928 году не был издан в Новосибирске подготовленный автором стихотворный сборник (рукопись не сохранилась). В 1932 году издательство «Молодая гвардия» отклонило книгу прозы Мартынова (рукопись не сохранилась). После административной ссылки на русский Север Мартынов вернулся в Омск под надзор местных спецслужб, и здесь, на родине, одна за другой вышли его книги: самая первая – «Стихи и поэмы» (1939), затем «Поэмы» (1940).

Всё чаще Мартынов появляется в Москве, особенно в годы войны. Творческую и моральную поддержку оказывают ему И. Эренбург, Н. Тихонов, С. Кирсанов.

1942-й – год приёма в члены Союза советских писателей. В ноябре 1944-го литературная общественность Москвы устраивает большой вечер поэта. Успех окрыляет талантливого сибиряка. «Его поэмы и стихи, – отмечалось в прессе, – изданные до войны, давно исчезли с книжного прилавка... Сборник же новых произведений Мартынова около полутора лет готовится к изданию в "Советском писателе"»¹.

Появление сборника «Лукоморье» упрочило литературную репутацию автора. Никто из критиков не ставил под сомнение поэтический талант, и всё же наряду с комплиментами в хоре критических голосов звучали ноты недоумения, смешанные с удивлением. Например, О. Ивинская отмечала одиночество лирического героя книги, окружённого обывателями. Даже в прекрасном стихотворении «Кружева» рецензент находила «идею одиночества»². Множество со-

¹ Литературная газета. 1944. 18 ноября.

² Новый мир. 1945. № 10. С. 176.

мнений и вопросов терзали А. Лейтеса, испытавшего «двойственное чувство» при знакомстве с лирикой Мартынова. Смущало «настроение» поэта, едва уловимое, но тревожащее, не поддающееся однозначной оценке. В стихотворении «Река Тишина» критика огорчало отсутствие «какой бы то ни было ясной мысли», сам же поэт обвинялся в рисовке и склонности к декадентским реминисценциям¹. Лейтесу вторил К. Зелинский по той же схеме: сначала хвалил, но тут же и укорял за «поэтизм... ещё не устоявшийся, мутный, как неперебродившее вино»².

Мутный поэтизм на исходе сорок шестого года грозил оргвыводами, и они последовали. Строгое предупреждение в адрес Мартынова прозвучало в центральной печати, а также и в Омске, где развернулась буйная обкомовская кампания, правда, когда Мартынов уже постоянно жил в Москве.

Даже в сравнении с предшествующим годом ситуация резко обострилась. Всё для поэта сошлось тогда крайне неблагоприятно. Если дома громили сборник «Эрцинский лес», то в столичном издательстве «Советский писатель» поставили крест на рукописи сборника «Чистое небо». В недавно опубликованной внутренней рецензии А. Твардовского на эту рукопись было сказано, что «именно ясности, отчётливости выражения недостаёт стихам Л. Мартынова»³.

Кажется, все дружно недоумевали, как такой поэт мог вообще сохранить своё лицо. Тем невероятнее факт опубликования «Литературной газетой» стихотворения «Эрцинский лес». Это случилось до развёртывания известной идеологической кампании, но, в сущности, и сорок пятый, и сорок шестой годы естественным образом укладываются в рамки позднего сталинизма.

¹ Лейтес А. О мысли и двусмыслице в поэзии // Литературная газета. 1945. 16 июня

² Зелинский К. О лирике // Знамя. 1946. № 8–9. С. 185.

³ Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 218.

III

Вспомним, как и о ком/о чём писали после войны. А что же Мартынов?

Поэт приглашал современников в «дебри»¹ неведомого фантастического леса:

Когда-то, говорят,
Сюда ссылали тех,
Кто с головы до пят
Укутан в тёмный грех...

Суровые цензоры и платные литературные наводчики вряд ли могли удовольствоваться возникающими в их памяти образами декабристов или каких-то других «государственных преступников» XIX века. Возникали ненужные, неактуальные ассоциации с днями сегодняшними. Как бы ни восторгался Мартынов красотами волшебного леса, они невольно ассоциировались с каким-нибудь Краслагом или Бамлагом необозримого сибирского архипелага. Однако цензура проглядела, и это странно. И совсем не странно, что стихотворение практически никогда не было предметом серьёзного критического разбора. Понадобилось четверть века, чтобы вектор анализа изменился. Хотя не обошлось без курьёза.

Так, А. Никульков, имея в виду название, простодушно сетовал: «Не мудрствуя лукаво, Л. Мартынов мог бы назвать стихотворение – "Тайга"». Но в целом критик верно почувствовал настроения поэта, обозначив их как ощущения тревоги, тоски и неопределённости².

В канонической редакции процитированная выше строфа выглядела с точки зрения цензуры ещё опаснее:

¹ «В дебрях Эрцинского леса» – так называлась разгромная статья В. Иванова в газете «Омская правда» (1946. 28 сентября).

² Никульков А. Леонид Мартынов. Новосибирск, 1969. С. 49–50.

Но посылали вы
Сюда лишь только тех...

Вместо банально-разговорного «когда-то, говорят» – прямое обращение. Кто это – «вы»? Кто конкретно? С Мартыновым мог повториться случай Ильи Сельвинского, на которого кричали высокие партийные начальники из ЦК, домогаясь разъяснений относительно лирического признания:

Сама как русская природа
Душа народа моего:
Она пригреет и уroda,
Как птицу выходит его.

У Мартынова произошёл свой случай, только не с отдельным стихотворением, а со всей поэтической книжкой. В отличие от Сельвинского он попал в центр ударной волны.

IV

В архиве Мартынова сохранилось два беловых автографа «Эрцинского леса», оба с вариантами. Есть и авторизованная машинопись, тоже с вариантами¹. Нам эти тексты неизвестны. И всё же представилась возможность познакомиться со стихотворением по списку, сделанному писательницей Е.Н. Анучиной, с которой поэт связывали близкие отношения в середине сороковых годов. Незадолго до смерти (1989 г.) Анучина при содействии своей племянницы Н.П. Васильевой (дочери известного поэта) передала этот список, наряду с другими материалами, на государственное хранение в Омский историко-краеведческий музей².

¹ Мартынов Л. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта» (большая серия) Л.: Советский писатель, 1986. С. 670.

² Омский государственный историко-краеведческий музей. Фонд № 151.

Привожу текст с сохранением орфографии списка. Курсивом обозначены строки, отсутствующие в канонической редакции стихотворения.

ЭРЦИНСКИЙ ЛЕС

Я не таил от вас
Месторожденья руд,
Пусть ваш ласкает взгляд
Рубин и изумруд,
И матовый топаз,
И золотой янтарь.
Я звал вас много раз...
– Ведь правда, было встарь? –
Я звал вас много раз,
Сюда, в Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес.
Я говорил, что дик
Мой отдалённый край,
Я говорил: язык
Деревьев изучай.
Я звал вас много раз
Сюда, в Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес.
**Тот лес великий есть,
И он могучий есть.
Он древле рос и цвёл
И вечно будет цвести
От западной земли
И до восточной вплоть,
Чтоб в нём мы жить могли,
Взрастил его Господь.**
Я звал вас в пыльный рай

Необозримых стад,
Я звал вас в дикий рай,
Напоминавший ад.

Делить всё, чем богат,
Я был бы с вами рад.
Но посылали вы
Туда лишь только тех,
Кто с ног до головы
Укутан в **чёрный** грех...
Ведь, правда,
было так? –
Труби, Норд-Ост могуч, –
Что райских птиц косяк
Летел меж снежных туч...
Косяк безгрешных душ
Ему наперерез.
Пути, зима, завьюжь!
В снегах Эрцинский лес,
В снегах Эрцинский лес,
В снегах Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес.

Принципиально важна при сопоставлении вариантов абсолютно неприемлемая – и не только в 1946 году – изоморфность библейских топосов Ада и Рая. Сам ход поэтических аналогий, мирочувствование автора шли вразрез с нормами атеистической пропаганды, хотя нет и оснований говорить о религиозных мотивах в его творчестве. Художественное сознание Мартынова, несмотря на юношеский постфутуризм и техницизм, было сформировано вкусами гуманистической дореволюционной русской культуры, представить её без ключевых знаков христианской мифологии невозможно.

В списке Анучиной строфа о некоторой зеркальности Ада и Рая звучит с ошеломляющей откровенностью и потому обречена остаться в рукописном варианте. В то же время мотив великого, вечно цветущего леса полон жизнеутверждающей силы. Лес создан Богом, «чтоб в нём мы жить могли». Лирический герой Мартынова буквально закликает власть имущих пристальнее взглянуть в сибирское Лукоморье. Жанровые признаки заклęcia подчёркнуты повторами о снегах, покрывающих лесное пространство. Впечатляющий образ безгрешных душ, перевоплотившихся в косяк райских птиц и летящих навстречу ледяному ветру, завершает драматический зимний ландшафт «блаженной Гипербореи».

Тема Рая не была новой для Мартынова и наиболее отчётливое выражение нашла в известной поэме о судьбе офени-просветителя Мартына Лоцилина «Искатель рая». Герой поэмы, начитавшись Мильтона, грезит раем земным, его утопический Эдем должен быть «по облику с Россией одинаков». К сожалению, в таинственных арабских и славянских письменах он не находит утешения: «Мартын, Мартын! Не разыскал ты рая. Рай недоступен! Рая не найти!» Став мастеровым в убогом кирпичном сарае, Лоцилин «о рае говорил и аде, которые творятся на земле».

Мартыновская Гиперборея воспринимается как осквернённый рай, в недрах его до времени хранятся драгоценные камни. Поэт не случайно выбирает самые чудодейственные, обладающие магическими свойствами. Рубин сотворён Богом и лечит от тяжких недугов. Изумруд, камень мудрости, способствует освобождению от рабства и рассеивает злые чары. В янтаре, приносящем счастье, преломляется свет солнца, а с топазом люди издавна связывали свои представления о наслаждениях жизнью и добрых деяниях. Символикой этих «руд» автор дорожит, их местонахождение, однако, отнюдь не тайна. «Я не таил от вас...» – говорит он.

И вновь обратим внимание на характер сознательно безадресных обращений: «вы», «вас». Кого имел в виду

Мартынов? Рискну предположить, что одним из первоначальных импульсов для возникновения художественного образа могла стать личность следователя ОГПУ Н.Х. Шиварова, снимавшего на Лубянке допросы с членов «сибирской бригады» весной 1932 года¹. Не отрицая своего юношеского увлечения областническими идеями, Мартынов увлечённо обрисовал перед следователем перспективы развития «Новой Сибири» с её колоссальным природным потенциалом. В поэтической форме это конкретизировалось через перечень волшебных талисманов в недрах «пыльного рая»².



Литературная ойкумена позднего сталинизма культивировала совсем иной язык, нежели тот, на котором изъяснялся Мартынов. Конечно, поэт пробовал освоить стиль эпохи, но это не приводило к творческим удачам, он оставался прохожим, «на нас непохожим». Стихотворение об Эрцинском лесе резко подчёркивало эту самобытность художника, чьё второе рождение совпало с «оттепелью» середины пятидесятых годов, когда в издательстве «Молодая гвардия» вышла небольшая по объёму книжка под скромным названием «Стихи».

В ряде изданий автор датировал стихотворение 1933–1946 гг. Первая дата скорее всего фиксирует зарождение замысла, возможно, ещё довольно смутного. Вторая говорит об окончательной отделке текста, ставшего общеизвестным. По всем правилам текстологической науки последняя прижизненная редакция (а после 1946 г. Мартынов не вносил в неё изменений) считается канонической. Но означает ли, что она лучшая? Ответить на этот вопрос помогает сам Мартынов стихотворением «Первый вариант».

¹ Поварцов С. Вакансия поэта // Сын Гипербореи. Книга о поэте. Омск, 1997.

² Известно, что собирание камней было страстным увлечением Леонида Николаевича.

– Я хочу ещё писать, но править
Не хочу! — воскликнул Сименон.
Верно! То же самое и я ведь
Ощущаю, а не только он.

Пусть уж будет всё как будет,
Коль себе ты веришь самому!
Пусть другие здраво и рассудят,
Что, когда писал ты и к чему!

Да и мало ли бы что такое
Вычеркнулось собственной рукой.
Чтобы жить, других не беспокоя
Или собственный храня покой!

И наивен тот, кто завещает
Взять лишь то, что выправил он сам.
Этой тщательности не прощают
Даже и взлетевшим к небесам.

И ещё потом смеются: – Гляньте!
Как ни тщился он перо кусать,
А ведь было в первом варианте
Много лучше! –
...И пошло писать!

Ответ ироничен, и нет сомнений, что он дан поздним Мартыновым. Между тем творческая история «Эрцинского леса» свидетельствует в пользу авторской правки, когда поэт находился в расцвете сил. Правки, повторим, вынужденной, обусловленной обстоятельствами. В таком случае текст, переписанный рукой Анучиной, не есть ли первый или, возможно, один из первых вариантов, который «много лучше»?

Оставим проблему выбора за читателем.

АХМАТОВА И ТЕАТР ВЕРТИНСКОГО

Сближение этих имён может показаться некорректным, однако историко-литературный ракурс темы даёт возможность убедиться в её филологической правомочности. Если Ахматова возвращена читателю в статусе классика отечественной литературы, то Александр Николаевич Вертинский, в прошлом известный исполнитель камерных песенок, артист и тоже поэт, сегодня почти забыт, – так уж распорядилось время. Творчество талантливого человека, разносторонне одарённого, всецело принадлежит Серебряному веку. Он был современником и одногодком Ахматовой и справедливо считается биографами родоначальником авторской песни в России. Его выступления на эстрадных подмостках в костюме Пьеро начались незадолго до революции. Вскоре молодой человек становится популярным в богемно-ресторанном кругу крупных российских городов: в Москве, Киеве, Екатеринбурге, Одессе. В репертуаре Вертинского успехом пользовались сочинённые им песенки, такие как «Жёлтый ангел», «Танго "Магнолия"», «Лиловый негр» и ещё десятки других любимых у нашей, в основном городской, публики. Артистизм Вертинского пленял не только женщин, много поклонников было у него и среди мужской части концертных залов. Юный одесский гимназист Юрий Олеша, однажды увидев и услышав Вертинского, на всю жизнь сохранил в памяти образ «ни на кого не похожего артиста».

«Он пел то, что называл "арияетками Пьеро" – маленькие не то песенки, не то романсы, вернее всего, это были стихотворения, положенные на музыку, но не в таком подчинении ей, как это бывает в песенке или в романсе, – "арияетки" Вертинского оставались всё же стихотворениями на отдалённом фоне мелодии. Это было оригинально и производило чарующее впечатление. Вертинский пел тогда о городе – о том его образе, который интересовал богему: об изломанных отношениях между мужчиной и женщиной, о пороке, о

преданности наркотикам... Он отдавал дань моде, отражал те настроения, которые влияли в ту эпоху даже на таких серьёзных деятелей искусства, как Александр Блок, Алексей Толстой, Владимир Маяковский».

Мелодии, жившие в нём, побуждали искать стихотворные тексты, принадлежавшие перьям современных поэтов. Вертинский пел И. Северянина, Н. Гумилёва, Ф. Сологуба, А. Блока, М. Волошина – перечень имён весьма внушительен. Не обошёл своим вниманием и Анну Ахматову. Из трёх её стихотворений наибольший интерес представляет романс «Темнеет дорога», где Вертинский предстал как соавтор(!) текста. Сверхлапидарный оригинал Ахматовой таков.

Чернеет дорога приморского сада,
Желты и свежи фонари.
Я очень спокойная. Только не надо
Со мною о нём говорить.
Ты милый и верный, мы будем друзьями...
Гулять, целоваться, стареть...
И лёгкие месяцы будут над нами,
Как снежные звёзды, лететь.

Биограф артиста В. Бабенко был первым, кто заинтересовался «преобразованием» ахматовского текста. Сопоставление оригинала с переделкой выполнено исследователем... в пользу Вертинского. Вывод оптимистичен: «Что-то изменить в стихотворении великого поэта – дело почти безнадежное. Мы видим, однако, что Вертинскому это вполне удалось. Более того, рискну сказать, – уверяет нас биограф, – что смысл строки у Вертинского выражен сильнее и богаче оттенками»¹. Имеется в виду третья строчка первого четверостишия. Но посмотрим на это со-творчество беспристрастно.

¹ Бабенко В.Г. Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. Размышления. Свердловск: Изд-во Уральского гос. университета, 1989. С. 33.

Уже в самом начале стихотворения Вертинским внесена «поправка»:

Темнеет дорога...

Исполнителю, вероятно, так удобнее — чтобы дорога темнела. Ему нет дела до цветовых предпочтений автора. В ранних стихах Ахматовой, заметим, сочетание чёрного с жёлтым встречается довольно часто. Чёрными видит она поля, грядки, набережную, сон, даже ангелы у неё черны и, конечно, смерть. Рядом в едином стилистическом контексте всё жёлтое: жёлтый луч, жёлтая лампа, жёлтая пыль, жёлтая муть, жёлтое пламя, «широк и жёлт вечерний свет». Да и лирическая героиня в тяжкие минуты любовного страдания выбирает для автопортрета ту же краску:

От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала жёлтой и припадочной,
Еле ноги волочу.

Горячечные метания, близкие к бреду, к потере рассудка («я сошла с ума, о мальчик странный») — очевидные и устойчивые симптомы страсти-любви и служат они убедительной мотивацией при выборе цветовой гаммы. Ведь дом умалишённых в Питере был окрашен в жёлтый цвет. Отсюда и синоним — жёлтый дом. Жёлтое у Ахматовой обычно связано с чувством глубокой тревоги и душевного смятения, по крайней мере в лирике 10–14-х годов. Обе краски, чёрная и жёлтая, которыми так настойчиво пользуется Ахматова вслед за И. Анненским, прочно вошли в состав «петербургского текста», примеров достаточно: вспомним О. Мандельштама. У него и чёрный ветер, и жёлтый туман, и памятная для многих «желтизна правительственных зданий».

Фонари не только желты, но и свежи. Вертинского это почему-то не устраивает, он заменяет эпитет на «до утра».

Желты до утра фонари...

До утра – то есть горели всю ночь. Можно понять так, что прогулка длилась несколько часов. Для лирической героини свежесть фонарей есть нечто большее, чем простая констатация факта. Этот свет пробуждает у неё воспоминания о прогулке совсем недавней, но с другим. Фонари всё так же свежи, как в тот вечер, по-видимому, незабываемый. Таким образом, экспозиция всего из двух строк полна тайного смысла.

Вертинскому нравится текст, и поскольку мелодия уже рождается, нужно изменить два следующих стиха, взять их себе. Получается:

Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить.

Так меняется игра смыслов, исчезает второй план, без него вся коллизия упрощается едва ли не до абсурда. У Ахматовой же это самая сердцевина стихотворной миниатюры.

Признание лирической героини, сопровождающее категорическую просьбу к спутнику, воспринимается как продолжение разговора двоих, начатого ранее, где-то «за кадром». Разговор о ком-то третьем, незримо присутствующем. Любовный треугольник? Но если так, то не обойтись без биографического комментария, хотя бы краткого.

М. Кралин не сомневается, что стихотворение адресовано Николаю Владимировичу Недоброву (1884–1919), талантливому филологу, критику, поэту петербургского круга¹. В «Белой стае» ему посвящён букет превосходных стихотворений,

¹ Ахматова Анна. Сочинения в двух томах. М.: Правда, 1990. С. 382.

многие из них без указания инициалов. Ахматова называла Недоброво другом и высоко ценила его статью о себе в «Русской мысли», где было сказано, что с появлением «Чёток» в современной поэзии обозначились признаки «ахматовской школы». Дата их знакомства «до сих пор остаётся неизвестной», замечает биограф, но предположительно это весна 1913 года. Конец романа датируется маем 1914-го. Другой исследователь, Б. Носик, считает роман «серьёзным и долгим», правда, с оговоркой: «Впрочем, по-настоящему влюблён был только Недоброво, оставивший ради неё жену»¹. Ахматова тоже не свободна, по крайней мере формально, несмотря на то, что супружеские узы с Н.С. Гумилёвым фактически прерваны.

От Гумилёва у неё сын Лев (1912 г.р.), а от актрисы О. Высотской у Гумилёва родился сын Орест (1913). Стихотворение «Чернеет дорога» помечено мартом 1914-го. Развод Ахматовой и Гумилёва будет официально оформлен спустя четыре года. Б. Носику хочется думать, что Недоброво «занял место Гумилёва». Выходит, спутник лирической героини ревнует к мужу, она же умоляет: «только не надо». И, разумеется, нервничает, уверяя, будто «очень спокойная». Похоже на известную схему: она – муж – любовник. Но интрига стихотворения в том, что был ещё один любовник, тоже, конечно, «друг». Спутник молодой дамы (запомним: это Недоброво) не может не знать обстоятельств личной жизни замужней женщины, которой увлечён. Круг петербургской литературной богемы несомненно осведомлён о семье Гумилёвых: там на самом деле разлад и раздельное проживание. Муж Ахматовой – отрезанный ломоть, к таким не ревнуют. Ревность как правило рождается по отношению к сопернику. Этим соперником был молодой музыкант, ученик А.К. Глазунова композитор Артур Сергеевич Лурье (1892–1966). А тот, кто

¹ Носик Б. Анна и Амедео. История тайной любви Ахматовой и Модильяни. М.: Радуга, 1997. С. 168.

идёт рядом с ней по дорожке приморского сада, скорее всего узнал о Лурье совсем недавно. Узнал и требует объяснений. Её ответная реакция читателю уже известна.

Я отнюдь не настаиваю на своей версии, потому что в биографических материалах Ахматовой зафиксировано свидетельство С. Юткевича, утверждавшего, что Лурье и Ахматова «одно время жили вместе, и все считали их мужем и женой». Это якобы общеизвестное Недоброво узнал в последнюю очередь. Прав М. Кралин, указывая на «двусмысленность положения» Николая Владимировича в сложившейся ситуации¹. А если всё же не Лурье? И такое возможно.

Тут сама собой напрашивается цитата из дневника К.И. Чуковского. Вот ехидная запись 1965 года. Он узнаёт от дочери, что у Ахматовой, оказывается, был роман с сэром Исайей Берлиным во время его приезда в Ленинград в 1946 году. Новость может быть и мифом, но Чуковский, человек многознающий, резюмирует: «Какой у неё, однако, длинный донжуанский список. Есть о чём вспоминать по ночам»².

Вернёмся к Вертинскому. Ничего этого артист не знал, да и знать ему не требовалось. Задача была иная: то, что Ахматова зашифровала для читателя, о чём умолчала, было противопоставлено музыкальной пьесе. Исполнительский посыл зрителю обязан быть абсолютно понятным и не содержать никаких загадок. Поэтому начало второй строфы легко приспособляется к личности героя. Вместо «ты милый и верный» Вертинский пел «я верный и нежный». В результате таких вторжений в чужой текст романс звучал в упрощённом варианте.

Темнеет дорога приморского сада,
Желты до утра фонари.

¹ Кралин М. Победившее смерть слово. Статьи об Анне Ахматовой и воспоминания о её современниках. Томск: Водолей, 2000. С. 59.

² Чуковский К. Дневник 1930–1969. М.: Современный писатель, 1995. С. 372.

Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить.
Я верный и нежный. Мы будем друзьями...
Гулять, целоваться, стареть...
И лёгкие месяцы будут над нами,
Как снежные звёзды, лететь.

У В. Бабенко сопоставление текстов здесь заканчивается. Автор «размышлений» от полноты чувств резюмирует: «Хотелось бы отметить безошибочное чутьё Вертинского, оставившего своё внимание именно на этом стихотворении. Осуществлённая им в процессе репетиций правка текста не только не испортила ахматовский шедевр, но и сообщила ему неожиданные оттенки». Странно, что правкой(!) шедевра размышления ограничиваются. Как выясняется, Вертинский дописал стихотворение Ахматовой и – будем справедливы – весьма искусно сделал концовку ромansa, закольцевав сюжет слегка видоизменённым повтором.

Темнеет дорога уснувшего сада,
Ещё далеко до зари.
Я очень спокоен, но только не надо
Со мной о любви говорить.

Известно, что Ахматова негодовала¹. В переделке Вертинского исчезла сложная любовная интрига, не говоря уже об «оттенках». Напрашивается вывод, в сущности, тривиальный. Восьмистишие Ахматовой предназначено для чтения, не претендующего на публичность, даже, может быть, вообще огласку. Оно интимно. Б. Эйхенбаум в 1923 году напомнил читателям о реакции критики на раннюю лирику Ахматовой: её стихам «отнеслись как к интимному дневнику», и добавлял от себя: «перед нами как будто сплошная автобиография, сплошной дневник».

¹ Анна Ахматова в записях Дувакина. М.: Наталис, 1999. С. 283.

Задача артиста-шансонье принципиально иная. Концертные подмостки, ожидания публики, яркая индивидуальность Вертинского, – все эти составляющие определяли максимальную открытость и жанровую привлекательность репертуара.

Он сочинял не только слова, но и музыку, предвосхищая позднейшие победы авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий, И. Тальков). Невозможно сказать, что являлось для него первичным, весьма часто логос и мелос возникали одновременно, за исключением тех случаев, когда мелодия сочинялась для чужой литературной основы. Н. Ильина пишет: «Песенные тексты играли у него роль чисто служебную. Слова нужны были лишь как повод, дающий этому актёру возможность показать свою главную силу, умение легко переходить от одного настроения к другому...». Однако вмешательство в чужой текст не всегда сулило удачу. Едва ли такое соавторство смущало Вертинского. Присоединяясь, например, к С. Есенину, шансонье был уверен: публика всё равно встретит его аплодисментами.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Мне так трудно жить среди людей.
Каждый шаг мой стерегут страдания.
В этой жизни счастья нет нигде.
До свиданья, догорают свечи...
Как мне страшно уходить во тьму!
Ждать всю жизнь и не дожидаться встречи,
И остаться ночью одному.
До свиданья, без руки и слова –
Так и проще будет, и нежней...
В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей ¹.

¹ Вертинский А. За кулисами. М.: Советский фонд культуры, 1991. С. 157.

Общепризнанный артистизм Вертинского неизменно искупал банальности стихотворного ряда. Выходя к публике, он покорял её своеобразным вокалом, мелодекламацией либо речетативом. В.И. Качалов сказал однажды: «Такого умения владеть руками, таких "поющих рук" я не знаю ни у одного из актёров. Конечно, и мимические его свойства поразительны». В памяти современников сохранился и отзыв Д.Д. Шостаковича. «Ты понимаешь, что такое Вертинский? – говорил Мастер Л. Траубергу. – Он в сотню раз музыкальнее нас, композиторов». Концерты Вертинского, любая его песенка превращались в маленькие спектакли. Ему горячо аплодировали, потому что искренний отклик в сердцах людей находило сочувствие артиста к судьбе маленького человека. Сострадание к потерявшим родину. Было востребовано всё то, что зовётся человечностью. Камерный театр Вертинского помогал на время забыть о грохоте барабанов и ужасах войн, революций, повседневной жестокости жизни. Для послевоенного советского зрителя/слушателя заманчивым казался «бананово-лимонный Сингапур» и «дешёвый электрический рай» парижских балаганов. Многие песенки звучали «жалобно», и это тоже нравилось.

Ахматова, конечно же, имела право на возмущение, узнав, что её стихи поют в концертах. Это тема особая, требующая специального рассмотрения. Заметим только, что «песенное слово» (выражение Есенина), популярное на городских пространствах во второй половине XX века, уже звучало в несколько иной эстетической системе координат параллельно с Большой Литературой. Великий поэт Анна Ахматова это понимала, но принять не могла.

ПАРОЛЬ ОСТАЁТСЯ НАВСЕГДА

Васильева С., Першина Л. Омск как пароль.

Омск: Кн. изд-во, 2007.

Вахтанговцы в Омске – тема хорошо знакомая, а, главное, близкая и потому не утратившая своей привлекательности. Свежий тому пример – книга омских журналистов С. Васильевой и Л. Першиной под интригующим названием «Омск как пароль». Сразу возникает вопрос: почему? нет ли преувеличенной красоты в броском заголовке? Оказывается, нет. Потому что авторы со знанием дела пишут о дружбе замечательного театра с нашим городом, дружбе, которая начиналась в тяжёлые военные годы и продолжается по сей день.

Художником Светланой Гончаренко книга оформлена, как изящный семейный альбом, где обычно хранятся фотографии самых родных и дорогих нашему сердцу людей. Точное попадание «в десятку», ибо коллектив вахтанговцев от мала до велика и есть эти самые дорогие люди, тепло встреченные и обогреты городом в годину страшного нашествия. Здесь и лица омских актёров той поры, и уникальные фотографии военного Омска, и сцены из спектаклей, портреты гостей, воспроизведение волнующих документов о пребывании театра на «гастролях» и ещё много чего. Например, живых впечатлений об Омске из уст ветеранов вахтанговской сцены – Аллы Казанской, Вячеслава Дугина, Галины Коноваловой, Нины Архиповой. Они увидели Омск глазами привилегированных москвичей, плохо понимавших обстановку в стране и привыкших ограничивать свой мир рамками сценической площадки. Театр Вахтангова имел приоритетный, «режимный» статус: по Арбату ездил Сталин и его команда, поэтому составу труппы надлежало быть благонадёжным. Ещё важнее политическое лицо театра, в репертуаре которого определённое количество безыдейных, празднично-развлекательных представлений с лихвой окупалось пьесами на революционную тематику. Так, в Камерном театре этот баланс не выдерживался, и вождь сделал оргвыводы, театр закрыли.

В самом деле, зачем в столице два похожих культурных заведения? Хватит одного экземпляра, что ни возьми: один Булгаков с его «Днями Турбиных», одна правильная газета («Правда»), один строптивый академик (Павлов), один основоположник советской литературы (Горький), ну и один яркий, лёгкий, полезный для отдыха театр – вахтанговский. И вот осенью 1941 года люди театра стали сибиряками.

В новой книге трогательно выглядят не только воспоминания эвакуированных артистов и омичей, но также цифры и документы того периода. Взять пресловутый квартирный вопрос: кто из сотрудников театра (а их немало) получил свои квадратные метры, сколько и где. В деревянном Омске с жильём было туго. Снова, как и в Гражданскую, зазвучало знакомое старшему поколению слово «уплотнение», кого-то из омичей, пишут авторы, переселили из своих квартир, чтобы проявить «чудеса гостеприимства». История театра на два года соединилась крепкими узами с жизнью тылового Омска. Как питались и чем, куда бегали менять одежду на продукты, рассказывает Казанская. О создании фронтовой бригады читатель узнаёт от Александра Граве.

В семейный альбом органично вошли фрагменты воспоминаний Евгения Рубеновича Симонова, сына главного режиссёра театра. Мальчишка, как и полагается в актёрских семьях, был влюблён в мастеров сцены, боготворил их. Авторы книги, идя вслед за Симоновым, рассказывают о непростых отношениях знаменитых режиссёров, вынужденных работать вместе под одной крышей: это Алексей Дикий и ученик Мейерхольда Николай Охлопков. Не всё шло гладко, однако производственные конфликты и несходство характеров сполна искупались творческими победами вахтанговской труппы. А управлял театральным кораблём мудрый Рубен Симонов, верный ученик Мастера.

Город нашёл москвичам жильё, но поделился и сценой драматического театра. Здесь в очередь играли и репетировали обе труппы, омская и вахтанговская, вечерние спектакли значились в газетных объявлениях рядом. Сначала один спектакль, потом другой. Всё было общим: судьба, го-

род, сцена, театральная столовая... Хорошо об этом сказал Алексей Фёдорович Теплов, приветствуя московских коллег в июне 1977 года на сцене Концертного зала: «Мы с вами, – говорил омский актёр, – были тогда не только однокрышниками, потому что работали под одной крышей. Мы были и однокашниками, потому что ели одну кашу». Из книги можно узнать, что ели перловку, именуемую «шрапнелью».

Держа в руках книгу, чувствуешь прикосновение к удивительной театральной мифологеме. У настоящего искусства, помимо грубой правды факта, обязательно есть обаяние мифа. Вахтанговские артисты всегда гордились специфической, с оттенком романтизма, мифологией своего Дома, где состоялось рождение ослепительной «Принцессы Турандот». В чём секрет спектакля? В том, бесспорно, что Мастер нашёл главный приём – «театр в театре», когда молодые студийцы, жившие в голодной и холодной Москве, самозабвенно играли в сказку, творили праздничное представление, легко и свободно импровизируя по ходу сквозного действия. Между тем оригинальный сюжет о Турандот в его первоизданном персидском варианте разительно отличается от праздничной версии Карло Гоцци. Первоисточник жесток. На конкурсе загадок царевич побеждает китайскую принцессу и в отместку за многочисленные казни мужчин-претендентов отрубает ей голову. Вахтангов едва ли догадывался о существовании восточного оригинала, его пленила именно весёлая, с элементами комедии дель арте, инсценировка Гоцци. Прошло сорок лет, и в память Учителя театр возобновил легендарный спектакль, уже с другим (и блистательным!) составом.

В Омске открылась новая страница в истории театра. Миф обогатился свежими красками, мощно и пронзительно зазвучали героико-патриотические ноты в «Олеко Дундиче», «Фронте», «Русских людях». Патриотический пафос был для Победы необходим, как оружие. С таким чувством работал весь коллектив театра. Но сегодня мы вправе задуматься, так ли уж безупречны в художественном отношении были эти и другие спектакли? В экстремальные периоды гиперболы бывают оправданны и неизбежны. Восторги омской публики понятны, газетные рецензии ча-

сто грешат субъективизмом. Ответ не очевиден. Книга Васильевой и Першиной побуждает к размышлениям, инициирует историко-театроведческие штудии. Впрочем, мифология непобедима.

Последние главы посвящены покойному Михаилу Александровичу Ульянову. Более полувека наш земляк был живым связующим звеном между Омском и театром им. Е.Б. Вахтангова. Он соединил в жизни два родных для него дома. Такова ещё одна грань великолепного мифа, которому может позавидовать любой отечественный театр XX века.

Ульянов! Разве не чудо, что юношу из Тары навеки пленил московский театр? Конечно, случай, судьба, стечение обстоятельств. Ведь, приехав в Москву, Михаил Александрович поступал в другие театральные училища, не прошёл, а взяли молодого человека вахтанговцы, поверили в него. Хотя я всегда думал, что актёрский темперамент Ульянова другой, для вахтанговской школы слишком жёсткий, – скорее мхатовский, углублённо-психологичный. Не случайно же все творческие удачи Ульянова связаны с амплуа социального героя. А вышло иначе: стал всё-таки вахтанговцем и прошёл с театром жизненный путь до последнего срока. С уходом Ульянова вахтанговский миф перешёл в иное измерение.

...Когда умер Марлон Брандо, кто-то из литераторов очень точно сказал, что в большом артисте более всего поражала магия доминирующего присутствия. Не игра собственно, а нечто большее, именно магия. Такое же неотразимое впечатление оставлял на сцене и в кино Михаил Ульянов. Он доминировал как личность! И пусть окончена жизнь, присутствие выдающегося мастера среди нас будет ощущаться ещё долго.

Книга наших известных журналистов издана ничтожно малым тиражом, купить её заинтересованному омичу или гостю города практически невозможно. А жаль. Значит, дорога одна – в библиотеку, друзья! Есть, правда, слабая надежда на второе издание, ведь книга – лучший подарок. Особенно если написана увлекательно и оформлена полиграфически качественно. Как эта, про блистательных вахтанговцев и город Омск в годы войны.

КНИГА, РОЖДЁННАЯ У МИКРОФОНА

*Прощание с веком. Двенадцать часов радиозфира
с Леонидом Кудрявским.*

Омск: Издательский дом «Наука», 2011

Она особенная, во всяком случае в омском книжном пространстве, и представляет собой запись радиопередач, которые вёл на ГТРК «Иртыш» в течение всего 2000 года журналист Леонид Яковлевич Кудрявский. Вместе с земляками он прощался с уходящим веком. Его гостями в студии были историки, экономисты, писатели, экологи, деятели культуры. К сожалению, с нами уже нет автора большого цикла, ушли из жизни и некоторые участники уникального проекта. Тем актуальнее эта радиокнига как важный документ рубежа не просто веков, но целых тысячелетий. Такой двойной, поистине исторический момент мирового календаря запечатлён в узнаваемых голосах омичей, а теперь, спустя десятилетие, обрёл желанный печатный облик. Говорю так, потому что Кудрявский мечтал издать свои интервью именно в виде книги.

Замысел цикла появился у него в самом конце девяностых годов. В то время общество с понятным энтузиазмом ожидало близкой смены эпох, и, помнится, имели место споры относительно того, когда же грядёт миллениум, – в 2000-м или в 2001 году. Звучали тогда и тревожные ноты: а станет ли лучше? Магия цифр завораживала, иницилируя прогнозы, версии, дискуссии с подведением «итогов» века. Талантливый и многоопытный журналист Кудрявский понимал всю важность темы, связанной с комплексом сложнейших проблем, оставленных в наследство. Ему хотелось побудить омичей к раздумьям. О том, например, как они принимали «предлагаемые обстоятельства» и в какой мере сами их создавали. Иначе говоря, журналиста интересовала старая дилемма (применительно к собеседникам) – осознают ли они

себя объектом неких внешних сил или же отстаивают своё право быть субъектами истории, её творцами. Благодаря высокой культуре и профессионализму Кудрявского характер бесед оказался весьма содержательным, с отчётливой гражданской позицией. Приглашённые к микрофону тоже были на высоте. И сегодня мы вправе назвать настоящее издание плодом коллективного труда.

Размышления о веке минувшем есть не что иное, как одна из форм проявления национального самосознания, когда глобальное (всемирное) и локальное (региональное) оцениваются в единой связке, в более или менее реальной системе координат. Все персонажи Кудрявского – фигуры для Омска знаковые, вызывающие доверие. Все, так или иначе, причастны к формированию общественного мнения. Леонид Яковлевич тонко чувствовал специфику разговорного жанра и, если возникала необходимость, находил в рамках эфирного пространства место для полемики. Чаще всего она разворачивалась вокруг какой-нибудь злободневной проблемы. Собственно, весь XX век – колоссальная историко-политическая проблема. Не случайно историк Г. Садретдинов максимально заострил свою мысль: «Для моей Родины это был кровавый, страшный и, самое главное – бессмысленный век». Можно не соглашаться, однако вспомним Блока с его «Возмездием», где поэт увидел над «железным» веком огромную распростёртую тень Люцифера. А разве забудешь проклятия веку-зверю у Мандельштама уже в первые советские годы? Лучшие русские поэты провидчески и бескомпромиссно выразили трагедийное начало XX столетия. Скажут, может быть, что диагноз поставлен очень давно и с тех пор в жизни россиян произошли перемены в лучшую сторону. Тут, конечно, есть правда. Но вот стихи начала 80-х годов, по времени ещё совсем близкие.

Героев столько, что пестрит в глазах.

Куда ни глянешь – всюду звездоносцы.

И пиджаки с набором красных шпал.
А между тем – так трудно стало жить,
И так людей достойных не хватает,
И столько всяких пьянок и ножей!
Россия – мать! За что же с нами так?
За что всё это, за грехи какие?
И трудно спать. И страшно просыпаться,
И стыдно жить. И не с чем помирять.

Это голос нашего современника, замечательного поэта Николая Тряпкина, горестно вопрошающего: за что? У каждого из нас свой ответ, хотя лучший был дан Блоком: за грехи отцов. Сегодня тема находит продолжение в беседе ведущего передачу с писателем Валерием Мурзаковым, для которого «отцы» есть понятие не столько классовое, сколько религиозное. Самый тяжкий грех – вероотступничество. Нам необходимо вернуться к православной этике пращуров, чтобы восторжествовала духовность. С писателем-коммунистом солидарен беспартийный историк. Значит, проблема осознаётся на обоих флангах в нестройных рядах нынешней интеллигенции. Процесс пошёл...

На первый взгляд, брать интервью просто. Да, но при условии, что вопросы сформулированы внятно, и тот, кто их задаёт, умеет слушать и слышать собеседника. Кудрявский в этом смысле был деликатнейшим из профессионалов. Внимательный читатель безусловно заметит, что в одних случаях журналист знает ответы на свои вопросы, в других – не знает, и вот когда не знает, разговор становится более динамичным. Живость диалога только оттеняет серьёзность дискурса, если сидишь перед микрофоном. Той же задаче подчинены вопросы о личном: что любите? кого считаете самой яркой фигурой XX века? ваш любимый афоризм? и т.д. Леонид Яковлевич понимал, что любовью его выход в эфир не имеет права быть скучным.

Радиопередачи Кудрявского мне хочется назвать беседами при неясной луне, неясной в том смысле, что в 2000 году

(кто помнит) демократизация России вновь стала предметом нешуточной озабоченности «мыслящего тростника». Итоги века подводить нелегко. Поэтому журналист сознательно отбирает ключевые темы, характерные для уходящего века. С экологом сделан акцент на проблеме экологической безопасности и насущной потребности развивать экологическое сознание человека. С экономистом обсуждаются альтернативные варианты проводимых в обществе болезненных реформ. У коллеги-журналиста Кудрявскому важно узнать, какие метаморфозы претерпела в XX столетии их профессия и возможны ли у нас независимые СМИ. В конечном счете все диалоги пронизаны раздумьями о судьбах отечественной культуры, причём в центре внимания оказываются болевые точки омской культурной флоры. Также отчётливо просматриваются позитивные аспекты темы. Прошло более десяти лет, а проблематика бесед не подлежит сдаче в архив. Значит, у книги много шансов быть востребованной.

Книга пробуждает воспоминания, их нельзя предать забвению. Цикл передач «Прощание с веком» появился не в лучшее для ГТРК «Иртыш» время. Как ни парадоксально, прощались не только с веком — избавлялись от неудобных. Сейчас это называется «оптимизацией». Прежде всего оптимизировали профессионалов, не обеспечив равноценной замены ни на радио, ни на телевидении. На фоне капризных кадрово-управленческих «новаций» голос Кудрявского звучал особенно символично.

История омской журналистики не написана. В плачевном состоянии радиыйный архив аудиозаписей, кинофотодокументы студии телевидения. Много ценного исчезло безвозвратно. Грустно вести счёт потерям. Порадуемся же тому, что сохранившиеся магнитофонные плёнки «Прощания с веком» не пропали и превратились в книгу, достойную внимания самых взыскательных читателей. Среди них непременно найдутся радиослушатели, поклонники омского журналиста Леонида Кудрявского.

НЕИСТОВЫЕ РЕВНИТЕЛИ – КТО ОНИ?

Шешуков С. Неистовые ревнители.

Из истории литературной борьбы 20-х годов.

М.: Московский рабочий, 1970.

Когда сравнительно недавно Б. Сучков выразил мысль о необходимости изучения истории РАПП, казалось, что монография об этой литературной ассоциации появится не скоро. Но не прошло и пяти лет, и в свет вышла книга С. Шешукова, подробно рассказывающая о возникновении, бурной деятельности и печальном конце рапповского движения. Потребность в такого рода исследовании ощущается особенно остро: литературная карта 20-х годов всё еще пестрит белыми пятнами, несмотря на то, что за последнее время издан ряд ценных работ – в том числе и коллективных, в которых первое послереволюционное десятилетие советской литературы освещается полно и глубоко.

Книга Шешукова даёт почувствовать атмосферу напряжённой борьбы как между существовавшими литературными группировками, так и внутри отдельных творческих объединений (круг журнала «На посту», РАПП после 1926 г.). Автор тщательно анализирует не только эстетические взгляды тех или иных писателей и критиков, таких, например, как А.А. Фадеев и А.К. Воронский, не только горячую полемику по тем или иным спорным вопросам, но рисует и своеобразные человеческие портреты своих героев. Это сообщает книге неповторимую живость, ничуть не умаляя её академического характера.

Работа Шешукова посвящена, в основном, РАПП и Фадееву, как одному из ее руководителей. Фактически же автор выходит за рамки своего исследования, поднимая огромный культурный пласт, затрагивая множество сложнейших проблем эпохи, анализируя психологию и умонастроение целого поколения «неистовых ревнителей» пролетарской чисто-

ты, поколения, которое он не без иронии называет «самым ретивым в 20-е годы». Ретивость эта, как известно, дорого обошлась нашей литературе, что лишний раз и демонстрирует Шешуков. Однако достоинство новой книги отнюдь не в доказательстве вредности одиозной рапповской дубинки – факта всем очевидного. Заслуга автора в другом: он спокойно, с документами в руках показывает на примере РАПП внутренний механизм организации, основанной на кастовых, вульгарно-социологических принципах, анализирует психологию левых экстремистов от культуры. У большинства лидеров РАПП непомерный теоретический апломб и претензии были обратно пропорциональны творческим возможностям. Зато умение жонглировать цитатами из классиков марксизма, постоянную апелляцию к высоким авторитетам следует признать виртуозными. Такие демагогические приёмы во многом объясняют причину некоторых рапповских побед. Шешуков прослеживает «эволюцию» РАПП, её взлёты и падения вплоть до того кризисного момента, когда из недр организации выросла активная оппозиция по отношению к руководящей верхушке под названием Литфронт. Вместе с литераторами и философами Комакадемии Литфронт дал серьёзный бой доморощенным теоретикам РАПП их же оружием. Автор книги внимательно разбирает сложившуюся ситуацию, когда неистовые ревнители, привыкшие к нападению, оказались в несвойственной им роли обвиняемых.

Читая Шешукова, невольно вспоминаешь глубокую мысль академика Н.М. Конрада об эстетическом накоплении, составляющем «суть прогресса» в литературе. Критике безусловно принадлежит одно из первых мест в этом культурно-историческом процессе – она формирует художественное самосознание народа. Рапповской критике Шешуков посвящает немало страниц, и видно, как же далека была последняя от подлинного накопления духовных ценностей. Ни один сколько-нибудь крупный советский художник не был оценён РАПП по достоинству, более того – подвергался нападкам

и дискредитации. Так случилось с А.М. Горьким, В.В. Маяковским, А.Н. Толстым, М.А. Шолоховым, не говоря уже об Андрее Платонове, заслужившем в 1931 году клеймо кулацкого агента за повесть «Впрок». Хорошо, что у исследователя достало мужества реабилитировать интересное произведение талантливого писателя, равно как и его сатирический рассказ «Усомнившийся Макар», бичующий бюрократизм.

Рапповские фанатики лишь на словах являлись авангардом в области теории. Когда же писатели действительно изображали живого человека (Горький, Шолохов), действительно срывали все и всяческие маски с мещан и бюрократов (Маяковский, Платонов), действительно показывали людей нового общества с точки зрения углублённого психологизма (Толстой), – адепты чистого пролетарского искусства обнаруживали полное непонимание диалектики литературного процесса. «Движущаяся эстетика» превращалась в эстетику мёртвую.

Большое место занимают в книге теоретические искания А. Фадеева, его деятельность в ассоциации. Отдавая должное заслугам автора «Разгрома» перед молодой литературой, Шешуков в то же время не снимает ответственности с любимого писателя за многие допущенные ошибки в руководстве пролетарским литературным движением. Натура искренняя, увлекающаяся, он, едва освободившись от какой-либо догмы, попадал в плен другой; не успев раскаяться в одной ошибке, совершал следующую, снова каялся и снова ошибался. Фадеев, как пишет Шешуков, хотя и освободился «от груза рапповских ошибок» (с. 351) и на Первый съезд писателей пришёл «обновлённым», всё же так и не смог окончательно преодолеть в себе рапповца. Приверженность к ограниченному доктринёрскому схематизму роковым образом и прежде всего сказывалась в системе его критических воззрений на литературу. Так, в письме 1935 года к П. Павленко находим следующее место: «Я прочел "Фиесту" Хемингуэя и "Смерть героя" Олдингтона. Обе книги очень талантливы, но первая лучше. Дело в том, что в обеих книгах герои не стоят

пятак в базарный день и сами по себе дьявольски скучны. Но Олдингтон вьётся вокруг них с саркастической серьёзностью образованного гимназиста, а выдержать 354 страницы серьёзной иронии, скепсиса... и ещё вокруг дерьма, в сущности, очень трудно – скучно прежде всего. Что же касается Хемингуэя, то он без претензий, тихим голосом и довольно экономно сплетничает о своих героях, и как всякая сплетня, это порождает любопытство, а когда твоё любопытство удовлетворено, то видишь, что это не сплетня в сущности, а такова жизнь "малых сих". А в общем, мне кажется, дай нам волю, мы могли бы писать так же». (Знамя. 1969. № 7). Приходится только сожалеть, что этот снисходительный пассаж, быть может, вернее всего объясняющий психологию неистовых ревнителей, отсутствует в книге.

Особо нужно отметить в ней ту линию, которая связана с именем А.К. Воронского. Шешуков с любовью, много и интересно пишет о деятельности Воронского, боровшегося с «напостовским заезжательством», со всякого рода вульгарно-социологическими тенденциями. Сказанное им подтверждает оценку, данную редактору «Красной нови» ещё в 1927 году его современником П.С. Коганом: «Влюблённый в литературу, в талант и в мастерство, он был их рыцарем в эти трудные для искусства годы. Он так верил в великую миссию литературы, что защищал и её "уклоны", опасаясь, чтобы слишком фанатические истребители уклонов не уничтожили самоё литературу, не выплеснули вместе с водой и ребёнка из ванны». Вместе с тем в работе даётся анализ зачастую противоречивых представлений Воронского по ряду важнейших эстетических проблем.

Доброжелательно, с чувством глубокого уважения говорит Шешуков и о «Перевале». До сих пор¹ ещё жива традиция трактовать эту литературную группу как чуждую,

¹ Написано более сорока лет тому назад, но сегодня это утверждение не соответствует действительности: в работах современных литературоведов «Перевал» реабилитирован за отсутствием состава прегрешений.

буржуазную по своему духу. Автор намеренно выписывает пространные декларации перевальских критиков, с тем чтобы показать: в них «нет ничего, что могло бы поставить их за грань советского литературоведения тех лет, отнести к буржуазному лагерю» (с. 269).

Чрезвычайно важна заключительная часть книги, где впервые в нашей научной литературе рассказывается история возникновения термина «социалистический реализм», появившегося в результате встречи специальной правительственной комиссии с представителями ВОАПП, РАПП, и МОРП незадолго до Первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей.

Одно из главных достоинств монографии Шешукова – её объективность. Исследователь не считает нужным скрывать свои антипатии и тем более симпатии. Тонкого сарказма исполнены те страницы, где даны характеристики Л. Авербаха и В. Ермилова. Портрет Дм. Фурманова, чувствовавшего себя одиноко среди напостовских начётчиков, напротив, – воссоздан с большой теплотой. Книга Шешукова являет собой пример того, как авторская пристрастность служит, по сути дела, надёжной гарантией подлинной объективности научного поиска. Но Шешуков не впадает в огульное отрицание напостовско-рапповских заслуг – они помогали партии «в деле разоблачения троцкизма» (с. 32), боролись за реализм.

Как и любая работа, анализирующая сложные проблемы и впервые систематизирующая огромный фактический материал, монография не лишена некоторых погрешностей, противоречивых утверждений, спорных моментов.

Трудно согласиться с автором, когда он отождествляет позицию Воронского со взглядами Л.Д. Троцкого на возможность создания пролетарского искусства в переходный от капитализма к социализму период. Троцкий, как известно, отрицал такую возможность в принципе. Несмотря на две существенные оговорки, что «внутренние мотивы отрицания пролетарской литературы у Воронского были иными, чем

у Троцкого» (с. 31) и что Воронский «по-своему трактовал» (с. 208) эту ошибочную концепцию, Шешуков делает критика единомышленником Троцкого, что называется, на все времена, ссылаясь по традиции на его статью 1923 года «О пролетарском искусстве и о художественной политике нашей партии». В ней действительно содержится утверждение, будто «пролетарского искусства сейчас нет и не может быть». Между тем необходимо учитывать полемический характер подобного заявления, направленного прямо против напостовцев, мнивших себя единственными представителями пролетарской литературы. Нельзя не видеть и эволюции во взглядах Воронского в этом вопросе. Ведь уже в мае 1924 года на совещании в отделе печати ЦК РКП(б) он заявил: «В том-то и дело, что создание пролетарской литературы – это процесс, такая литература не делается и не рождается сразу. Пути её роста и развития сложны и иногда запутаны. ...У нас будут свои классики, своя революционная, большая здоровая литература».

Отдельные страницы литературной борьбы того периода хотелось бы увидеть освещёнными более подробно (совещание в ЦК 9 мая 1924 г., посвящённое политике партии в художественной литературе, Первый пленум Оргкомитета ССП).

Работа несомненно выиграла бы, если б Шешуков дополнил её в ряде мест фрагментами из истории внутривнутрипартийной борьбы 20-х годов, чтобы яснее была видна расстановка сил и в литературном лагере.

Автор напрасно извиняется в предисловии за «перегруженность» книги архивными материалами – именно эта документированность составляет её ценность. Изобилующая историко-литературными фактами, она, тем не менее, легко читается. В высшей степени серьёзная, умная книга учит бережному отношению к художнику, к творчеству вообще, рождает раздумья. Конечно, «Неистовые ревнители» ещё не есть биография РАПП, но это уже первая плодотворная попытка объективно проанализировать деятельность одной из самых массовых литературных организаций послеоктябрьских лет.

ПО-НОВОМУ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Чудакова М. Новые работы 2003–2006. М.: Время, 2007.

У книги известного исследователя творчества М. Булгакова подкупающе простое название. Собранные под одной обложкой статьи есть плод интенсивного труда филолога, увлечённого проблемами истории той литературы, которая сегодня многими подзабыта или – если иметь в виду новое поколение – фактически отвергнута. Историко-литературный и социокультурный контексты, взаимодействуя, создают мощное силовое поле, где возникает возможность задуматься над тем, что стёрлось из памяти, потеряло актуальность и требует реставрации. М. Чудакова именно актуализирует сложный противоречивый материал, не поддающийся однозначным, тем более категоричным оценкам.

Герои «новых работ» – первоклассные писатели минувшей эпохи: Бабель, Булгаков, Гайдар, Мартынов, Окуджава, Олеша, Н. Островский, Пастернак, Шолохов. Разительное несходство творческих индивидуальностей должно подчёркивать литературный феномен, названный когда-то Тыняновым качественно характерным (в противоположность количественно типическому). Размышляя о литературе советского прошлого, автор книги предлагает свою версию магистральных путей сообразно современному пониманию художественного качества, свободного от нормативов некогда могущественного «официоза». Сочетание собственно филологических, часто остроумных наблюдений с завидным публицистическим задором либерального (в хорошем, не пейоративном смысле) толка делает книгу увлекательным чтением. О ней можно сказать словами автора, обращёнными к французскому коллеге: «Бывают работы полезные, а бывают и плодотворные» (с. 130), то есть стимулирующие самостоятельный научный поиск ассортиментом приёмов, в том числе и провокативных, – опять же в хорошем смысле.

Говоря проще, Чудакова умело убивает сразу двух зайцев. Не каждому литературоведу такое умение дано.

Моменты новизны проявляются на разных уровнях: от тонких, не вдруг заметных нюансов до концептуальных обобщений. Иногда это сделано как бы мимоходом, чаще же разворачивается на нескольких страницах с цитацией больших фрагментов чужого текста, становясь стержнем статьи/доклада. Так, комментируя проблему сублимации секса как двигателя сюжета в отечественной прозе 20–30-х годов, автор заостряет внимание на прикровенных и ранее незамеченных подспудных мотивах повести Ю. Олеши «Зависть». Бессознательные эротические комплексы, считает Чудакова, определяют фабульное построение вещи, причём она отделяет гомо-, гетеро- и бисексуальное у Олеши от «внешнего сюжета, близкого к фабуле» (с. 55). Под таким углом зрения сюжет «Зависти» приобретает новые смысловые оттенки. В размышлениях о Булгакове заслуживает доверия тезис о настойчивом «мотиве вины» (с. 467) в творческой биографии писателя. Это показано как на примере отдельных ранних рассказов, так и в анализе мироощущения героя в «Мастере и Маргарите». Его признание, что он не заслужил света, только покой, обросло в булгаковедении множеством в разной степени убедительных толкований. Однако вывод Чудаковой важен принципиально: чувство вины за судьбу России в 1917–1920 гг. было у писателя горестно неизбывным, и потому не свет. Если и не в полной мере, то во всяком случае ответ ближе к жизненной правде, чем некоторые другие домыслы.

Интересны страницы об уроках мастерства, преподанных Бабелем своим младшим современникам (с. 28), которые потом «редуцировали» эту «плотную» прозу (с. 31), изъязв из употребления главное, её ствол – «материал, не знающий ограничений» (с. 36). Верная догадка всё же остаётся не до конца аргументированной. Следовало бы сказать о материале, не знающем у Бабеля тематических преград, потому что

жанровые имели место быть, не случайно же прекрасный новеллист, всю жизнь мечтавший написать роман, так и не написал его. Магия бабелевского стиля не могла не оказать воздействия на сравнительно узкий круг братьев-писателей. Из этого, правда, не следует, что Бабеля развели пожиже, и в 30-е годы мэтр сам стал писать... «под Паустовского» (с. 34). Конечная цель статьи с эпатажным названием «Разведённый пожиже», к сожалению, неуловима.

Плодотворное – не обязательно бесспорное. Чудакова слишком опытна, чтобы изрекать истины, требующие ученического согласия. С наибольшей выпуклостью это проявляется при анализе феномена советского в его, главным образом, литературоведческих и лингвистических ипостасях. Феноменология советского общества или, как обычно выражаются, советской цивилизации давно стала предметом комплексного анализа в трудах специалистов гуманитарного знания, назовём хотя бы самые известные имена – Р. Медведева, А. Зиновьева, В. Кожина. У Чудаковой срез специфический: довольно дотошно рассматривается объём таких ключевых понятий, как «советская литература», «советский писатель», «советское прошлое». Мотивированно предлагаются логические дефиниции советского – как в широком географическом, так и в узком, непосредственно идеологическом, значениях (с. 198–199). Оба значения иронически названы в книге намертво «слипшимися». Чудакова смотрит на словесные клише через увеличительное стекло.

Политически точно обозначена важнейшая тема, как Сталин, вторгаясь в литературную жизнь 30-х годов, фактически декретировал статус советского писателя, подвергнув большевистской унификации всю систему прежних, сугубо классовых этикеток (пролетарские, крестьянские, попутчики и проч.). Справедливость требует признать, что сомнительное с эстетической точки зрения, в условиях крепнущего тоталитарного режима выглядело политически неизбежным, утверждало единомыслие как норму. Кто оспорит мудрость

вождя? Чудакова и не пробует, лишь горестно констатирует факт циничного прагматизма и ещё многожды подчёркивает пейоративную окраску слова «советское» (-ая, -ий, -изм). Отсюда экспрессивный ряд: «советчина», «советизация», «советское тавро». К географии, понятно, этот ряд не имеет никакого отношения.

Согласимся с автором, что и социалистический реализм есть «конструкт официозной дидактики» (с. 132). Однако удивления тут заслуживает не столько дидактичность, сколько удачное конструирование, зафиксированное в Уставе, принятом на Первом съезде ССП. Каким бы дубовым с позиций её величества Эстетики ни казалось словосочетание «социалистический реализм», ничего более пригодного для характеристики нового социокультурного феномена не придумано.

Игра словами не проясняет пикантности исторического момента, ибо никуда не деться от законного вопроса (мы ставим его перед автором книги): таким ли уж пейоративным/пежоративным было всё советское прошлое на разных этапах своего существования? Наш ответ возможен при смене оптического прицела. Созданное большевиками общество долго представляло собой двуликого Януса, для миллионов доверчивых людей неразгаданного, непостижимого. Кого не коснулся Большой Террор, видел только праздничный, светлый лик божества. Есть и более точный аналог. У советской цивилизации, как у Луны, имелась вторая, обратная сторона, обнаружив которую, люди приходили в ужас и немедленно уничтожались, в лучшем случае изолировались. Времена изменились, и Леонид Мартынов написал:

*Но ведь, впрочем,
И устройство Луны
Мы изучим и с другой стороны:
Видеть жизнь с её любой стороны
Не зазорно ни с какой стороны!*
(1957)

Чудакова безусловно права, говоря о потрясающей силе Великой Утопии, соблазлившей русскую художественную интеллигенцию: «Радуга нового искусства повисла над страной – лишь на мгновение, как подобает радуге. В следующее историческое мгновение она погасла. Не период, а эфемерный миг призрачной эстетичности революции растворился в потоках крови» (с. 512).

Итак, проблема фасада и задворок поднята исследователем на литературном материале. Таким материалом выглядит детский писатель А. Гайдар, свежо и полемично отрефлектированный (рефлексия – любимое слово автора: с. 214, 285, 294, 374, 410) в статье «Дочь командира и капитанская дочка (реинкарнация героев русской классики)». Идеальный мальчик Тимур с его командой, канонизированный Павел Корчагин, пишущий роман о себе в романе Н. Островского и высвеченный в pendant булгаковскому Мастеру, старик Хоттабыч у Л. Лагина – это тоже, на первый взгляд, материал из рубрики «занимательное литературоведение». Между тем занимательность подчинена сквозной авторской задаче: напомнить о литературных героях советского прошлого не обязательно в традиционном, скорее – в романтическом варианте. Советизм, но приятный.

Чудакова не собирается ностальгически петь про утро, красящее «нежным светом стены древнего Кремля», и готова быть последней в очереди с теми, «кто добром вспоминает советское время в сравнении с сегодняшним» (с. 513, 546). Допустим, хотя вопрос сложный. Позволительно всё-таки спросить, не является ли обращение к советским текстам суть прикровенным (вот ещё одно заветное слово: с. 51, 55, 292) выражением авторской любви к идеально советскому, восходящему к детским, и оттого чистым, воспоминаниям?.. На классический вопрос советских очередей «кто крайний, товарищи?» смело можем ответить: только не автор «Новых работ».

Логичное социолингвистическое продолжение темы

находим в «материалах» с названием «Язык распавшейся цивилизации», собранных и прокомментированных под впечатлением работ известных языковедов Е. Поливанова, А. Селищева, а также современных русистов – М. Панова, Е. Земской, Т. Шмелёвой. Дополняя и развивая наблюдения предшественников, Чудакова даёт пёстрому материалу актуальную литературоведческую интерпретацию в рамках общей культурно-политической ситуации минувшей эпохи. Во втором разделе книги, посвящённом в основном Булгакову, метаморфозы русской речи иллюстрированы не одной лишь коллекцией советизмов: автор видит новые смысловые оттенки привычных слов и выражений в произведениях писателя. Публикуемая впервые работа «О поэтике Михаила Булгакова» без каких-либо натяжек вправе считаться образцовой для тех, кто изучает прозу Булгакова как художественную систему с обилием повторяющихся мотивов, устойчивых сюжетно-повествовательных блоков и деталей.

«Новые работы» – талантливая книга. Тем досаднее ошибки и опечатки в почти шестисотстраничном томе. Укажем некоторые. Так, на странице 72 сообщается, что Л. Мартынов был подвергнут «десятилетнему ostracismu» за стихотворение о прохожем («Замечали – по городу ходит прохожий...»). На самом деле причина вынужденного молчания поэта кроется в дооттепельном политическом климате страны. Стихотворение «Ночь» (1945) в новой редакции было напечатано в сборнике «Стихи» (1955), а не в 1958 году, как указано на странице 77. Ольга Берггольц мучилась несколько месяцев в питерских «Крестах», а не в лагере (с. 87). Прозаик Феоктист Березовский ошибочно поименован Фёдором (с. 550). Отдельный разговор – о щедро употребляемых автором специальных терминах, очевидно, для придания книге научного веса и с оглядкой на западных славистов. Прибегая к советизмам, заметим, что текст обильно засорён новомодными репрезентациями (с. 138, 172, 177, 358, 462), пейоративами, телеологией, локусами и прочими «архитектурными изли-

шествиями». Вкус изменяет автору, когда в тексте появляются такие, например, обороты, как «эротическая составляющая», «культурный очаг», «олитературирование биографии» (или всё-таки автобиографии? с. 410), «герой-революционер репрезентирует всех революционеров». Стиль книги не в последнюю очередь является предметом профессиональной заботы редактора Т. Тимаковой. Хочется пожелать ей творческих успехов на благом поприще.

Жанр журнальной рецензии предполагает достаточно жёсткие ограничения, многое остаётся за рамками заявленной темы. Но вместе с тем остаётся и чувство уверенности, что книга М.О. Чудаковой достойна коллективного обсуждения за «круглым столом». Автор может уверенно сказать коллегам: прошу к столу.

ВЛАСТЬ НАД ЛИТЕРАТУРОЙ

*Фрезинский Б. Писатели и советские вожди.
Избранные сюжеты 1919–1960 годов.
М.: Эллис Лак, 2008.*

Если поверить, что читательский интерес к писателям прошлого, за редким исключением, заметно ослабевает, то этого не скажешь о советских вождах. Полки книжных магазинов буквально ломаются от разнообразных сочинений о Сталине. Внук Молотова издал «кирпич» про своего деда. Не забыт Ленин, а также и персоны меньшего калибра. Новая работа Б. Фрезинского представляет и тех, и других в прочной связке, где цементирующую основу составляет огромный массив документов из государственных и частных архивов. Многие уже опубликовано и, стало быть, известно, но авторские находки и комментарии придают важной историко-политической теме аромат желанной новизны. В объёмистом, почти семисотстраничном томе Фрезинский умело возбуждает наш интерес, отнюдь не праздный. Ряд глав читается как захватывающий эпистолярный роман, местами это хроника текущих советских событий, а иногда возникает чувство, будто штудируешь толково написанный учебник (например, на с. 75–76 с хронологической таблицей выпущенных книг за период 1919–1929 гг.). В предисловии автор уведомляет о наличии писательских «моносюжетов» и сюжетов «групповых». Такое жанровое своеобразие с единой смыслообразующей доминантой делает чтение книги занятием увлекательным и безусловно полезным. В чём польза? В первых разделах, посвящённых известной проблеме социалистической культуры, с подобающей корректностью даны портреты Н. Бухарина, Л. Каменева, К. Радека, Л. Троцкого как идеологов этой культуры нового типа. Вклад каждого из вождей в общее дело был не равноценен, очень быстро забыт, сами политические деятели оклеветаны и уничтоже-

ны. Фрезинский восстанавливает справедливость в отношении соратников генсека, ставших его жертвами. Оценки автора, разумеется, ограничены рамками чисто литературных аспектов, однако их вполне достаточно для того, чтобы понять, как ещё совсем недавно искажалась история советской литературы. Со страниц книги живо встают человеческие характеры: интеллигентный и мягкий Каменев, страстный, увлекающийся Бухарин, «человек острого ума» Радек, администратор и теоретик Троцкий. В теоретическом плане заслуживает внимания пояснение Фрезинского к секретной записке последнего в Политбюро – «О молодых писателях, художниках и пр.» (июнь 1922). Содержание документа сугубо большевистское, стилистика близкая ленинской. Троцкий предлагает внимательно относиться к творческой молодёжи, на каждого «сочувствующего нам» завести «досье», дабы облегчить работу Цензурного Управления, к колеблющимся приставить компетентного «товарища» и, наконец, наладить поддержку молодых «в форме гонорара».

Записка попадает к Сталину, тот требует соответствующую справку по сути вопроса от чиновника агитпропа Я. Яковлева, который простодушно рапортует в ответ, что за души колеблющихся идёт «настоящая война» между эмиграцией и Советами. Заметим кстати: война шла за души всех деятелей культуры и продолжалась вплоть до 1991 года. Сталин отвечал взвешенно и (если считал нужным) либерально: мол, пристёгивать молодняк к цензуре – значит, всё испортить. Другое дело «субсидии», они абсолютно необходимы (с. 71–83). И тут вожди, конечно же, правы, «формы» гонорара актуальны и в наши дни.

Автор книги не ставит перед собой задачу исследовать проблему «пролетарской культуры» подробно, ему довольно материала для размышлений в связи с вышеупомянутыми записками вождей. Всё же напомним, имея в виду, что – как выразился бы Ленин – вопрос архиважный. В мае 1924 года отдел печати ЦК РКП(б) проводит совещание о том, какой

должна быть политика партии в области художественной литературы. Термины «пролетарское» и «советское» звучат в речах участников дискуссии с разной степенью отчётливости, порой синонимично, первый из них у некоторых почти иронически. Озвучено явное несогласие с тезисом о финансовой поддержке литераторов. Радек говорит: «Если мы решим, что нужно создавать какие-то "паппы" и "маппы", всякие течения и их субсидировать в таком масштабе, чтобы создавать атмосферу литературную, то мы этим, товарищи, хороших рабочих погубим». Бухарин ставит вопрос ещё шире: «...Мне кажется, что лучшим средством загубить пролетарскую литературу, сторонником которой я являюсь, величайшим средством её загубить является отказ от принципов свободной анархической конкуренции (голоса в стенограмме: "Браво! Правильно!" – С.П.) ...Если мы, наоборот, станем на точку зрения литературы, которая должна быть регулирована государственной властью и пользоваться всякого рода привилегиями, то мы не сомневаемся, что в силу этого мы погубим пролетарскую литературу».

В 1924 году перспективы развития отечественной литературы ещё туманны, будущего не знает никто. Зато сегодня современный автор имеет возможность поставить точный диагноз предложениям Троцкого с учётом драматического опыта советской действительности. Идеи вождя «представляют вариант организации тотального контроля в литературной сфере», заставляют вспомнить «соответствующие страницы Замятина и Орвелла» (с. 77). То, о чём мечтал Троцкий, Сталин с успехом осуществил спустя несколько лет, создав Союз советских писателей (с. 85).

Галерея писательских «моносюжетов» у Фрезинского внушительна, в предисловии находим перечень едва ли не всех громких имён. Нет нужды повторять их. Отдельно отметим Илью Эренбурга. Для автора, известного многочисленными публикациями биографического толка, это, безусловно, ключевая фигура в панораме минувших десятилетий. Писатель

предстаёт в разных ракурсах: Эренбург и Бухарин, Эренбург и Мальро, Эренбург как участник международных антифашистских форумов, Эренбург в письмах к Сталину. Наконец, показана роль Эренбурга в посильном противостоянии антисемитской кампании 1953 года. Обилие нового материала в книге даёт богатую пищу для размышлений касательно менталитета того общественного строя, который сложился в период режима личной власти Сталина. Не возникает сомнений, что Эренбург был персоной, наделённой особыми полномочиями, более того, скажем точнее, кем-то вроде доверенного лица вождя в Европе. Исследователь безусловно прав, замечая, что Сталин более всего дорожил информацией (с. 554) независимых наблюдателей. Так, например, с Дона в годы сплошной коллективизации он получал её от М. Шолохова. Источники, неподконтрольные ГПУ, посольствам, цензурным инстанциям, дорогого стоят. И потому роль Эренбурга трудно переоценить. Кто же он, этот всемирно известный «полупарижанин» с советским паспортом? Не открывая америк, и в то же время с доброжелательной иронией профессор филологии Брюссельского Свободного университета М. Онацкая заметила, что Эренбург «принадлежал к тому привилегированному советскому меньшинству, которое на некоторое время выпускали из СССР смотреть, как "гниёт" Запад, и писать о нём. Трудно определить, повезло ли ему, или он так умело приспосабливался. Пожалуй, и то и другое». По такому поводу хочется скаламбурить: если бы Эренбурга не было, вместо него следовало бы назначить... кого? Быть может, М. Кольцова? Нет, «хозяин» сделал свой выбор.

На склоне лет писатель признавался, что не в состоянии объяснить, почему остался жив в годы террора. Фрезинский, полемизируя с историком Г. Костырченко, уточняет, что судьба Эренбурга «висела на волоске» по крайней мере четырежды. Досье на него всегда было наготове в кабинетах Лубянки. Для Сталина не существовало неприкасаемых.

Но Эренбурга он ценил за ум, реалистический подход к деликатной политической проблематике, обширные знания в сфере международных связей и, что важнее всего прочего, личную преданность (с. 553). Прибавим к этому умение обращаться в письмах к «дорогому Иосифу Виссарионовичу» с достоинством, просить отеческого совета и одновременно предлагать свои варианты, тщательно просчитанные. Возможно, генсеку импонировало, что для писателя он не просто «тов. Сталин», но Отец-державник, глава большой семьи, выполняющий мессианскую роль теократической империи (как сказал бы покойный А.С. Панарин). Коллизия эта представляется убедительной.

Опираясь на документы, Фрезинский уверенно поднимает занавес политического театра, в спектаклях которого наши писатели вынуждены были принимать активное участие вместе с руководством. Их роли преимущественно жертвеннические. Штрихи к писательским портретам по большей части удачны. Автор заметно воодушевляется там, где ему удаётся прикоснуться к собственно художественному материалу, как, скажем, в случае обнаружения черновиков романа М. Слонимского «Крепость». История произведения драматична и поучительна. Заслуга архивиста здесь очевидна, равно как и в подробном изложении событий 1946 года по поводу печально известного постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» (автор не обинуясь называет его подлым, с. 543).

Так, в дополнение к направленной и неполной стенограмме заседания Оргбюро от 9 февраля Фрезинский впервые публикует запись этого мероприятия с участием Сталина, сделанную А. Прокофьевым. Она любопытна своими нюансами, в частности о М. Зощенко и А. Ахматовой. К уже известным оскорблениям в адрес Зощенко вождь прибавляет «балаганного писаку» (с. 540), Ахматову называет презрительно «поэтесса-старуха» (там же). Хамство, даже августейшее, невыносимо.

За интригой вокруг журналов автор не без основания видит подковёрное противостояние жалких холопов Жданова и Маленкова. Как и положено историку литературы, уточняет хронологию событий: прелюдией к 1946 году был 1943-й – «очередной тур борьбы власти с литературой» (с. 551). Сообразно групповому сюжету Фрезинский щедро использует военную терминологию: артподготовка, залпы, налёт. В официальных речах и документах это именовалось заботой партии о деятелях литературы...

Добрую треть книги занимает блок материалов из истории международных писательских конгрессов 30-х годов. Наибольший интерес представляет проведение парижского конгресса в защиту культуры в июне 1935-го. Монтаж писем, записок, мемуарных свидетельств образуют в книге плотный слой современной литературно-политической летописи европейского антифашистского фронта. Защита культуры и гуманизма объективно была успехом внешнеполитического курса СССР. В этой части повествования автор так же остаётся верен профессиональному кредо человека науки – писать правду. Приведём только один пример. До сравнительно недавнего времени читатель верил литературоведу И. Лупполу, будто инициатива проведения конгресса принадлежала «нескольким крупным французским писателям». Разыскания Фрезинского свидетельствуют об ином: идея конгресса сформулирована впервые Эренбургом в письме Сталину из Одессы в сентябре 1934 года и одобрена Бухариным. Борьба с нацизмом, защита СССР стали главными задачами организаторов и делегатов конгресса. Несмотря на имевшиеся между ними разногласия тактического порядка, конгресс продемонстрировал бесспорную победу левой и просоветски настроенной интеллигенции Старого Света. Сейчас не секрет и финансовая сторона проекта: его субсидировала Москва. Не случайно раздел о работе конгресса имеет у Фрезинского современно звучащий подзаголовок: «продюсер И. Сталин». Но коли так, то Кольцова следовало бы назвать

исполнительным директором конгресса, а Эренбурга (как это предложил Ю. Кублановский) агентом влияния.

А мог ли писатель каким-то образом повлиять на Сталина? Вопрос кажется абсурдным. Между тем обратная, хотя и своеобразная, связь с представителями общественности у Сталина существовала всегда. В одной из глав книги проанализирована роль Эренбурга в разгар антиеврейской кампании начала 1953 года. Весь фактический материал подтверждает положительный ответ на наш вопрос. Оставим в стороне существо полемики автора с Костырченко на тему «Эренбург и государственный антисемитизм». Это увело бы нас далеко от литературной проблематики. В рамках настоящего отклика важно подчеркнуть другое, а именно – отвергнув первый вариант коллективного письма советских евреев в «Правду», Эренбург счёл необходимым обратиться с личным письмом к Главному Режиссёру, он предупреждал: опубликование такого документа, одобряющего «Сообщение ТАСС» о врачах – убийцах в белых халатах, способно лишь «раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины» (с. 573). Аргументация Эренбурга была столь убедительна, что Сталин внял! В результате второй вариант письма оказался гораздо мягче. Но и он в печати не появился. Фрезинский выдвигает логичную версию, что вождь «взял тайм-аут» (с. 580), чтобы обдумать дальнейшую судьбу евреев в СССР. Акт массовой депортации не исключался, но 1 марта вмешалось Провидение, и Отца народов хватил удар. Страна застыла на грани очередной волны репрессий не только против евреев. С учётом всех вышеупомянутых обстоятельств письмо Эренбурга Сталину сыграло поистине историческую роль: оно инициировало спасительный тайм-аут, обернувшийся долгожданной оттепелью для всех граждан страны.

Благодаря архивным разысканиям исследователя проясняется настоящая картина тревожного времени: власть тогда всё же добила подписей у всех евреев, в том числе и под-

писи Эренбурга, правда, со смертью вождя острота политической проблемы была фактически снята. Здесь, как нельзя более, уместно вспомнить слова Сталина, сказанные когда-то генералу де Голлю: «В конечном счете, побеждает только смерть». Добавим от себя: март 1953 года – это когда смерть во благо.

Исследовательский пафос работы Фрезинского очевиден. На фоне квазинаучных построений и откровенных фальшивок интерпретация советского прошлого, основанная на документах, приобретает всё более актуальный характер. Благодаря автору, в научный оборот введены десятки новых ценнейших документов, внимательно изученных. Мифам и заблуждениям противопоставлен тот самый принцип историзма, который всегда был на устах у литературных генералов минувшего столетия.

ПЕРВАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» НА ТЕРМОМЕТРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

*Корниенко Н. «Нэповская оттепель». Становление
института советской литературной критики.
М.: ИМЛИ РАН, 2010.*

Интрига уже в самом названии. Позаимствованное у забытого пролетарского поэта И. Садофьева, автора духоподъёмных «динамо-стихов», оно логично встраивается в цепочку других оттепельных сезонов, хрущёвского и горбачёвского. Всё остальное на литературном календаре – крепкие морозы, в лучшем случае заморозки. Один из рецензентов, читая рукопись книги, посвящённой становлению института критики, предложил свой вариант: бабье лето. Была ли литературная осень таковой, вопрос. В сравнении с предшествующим периодом военного коммунизма, по-видимому, да. Однако тут важны точка отсчёта и точность исследовательской оптики. Возьмём, к примеру, Д. Мережковского. Адепт «нового религиозного сознания» объявил на исходе XIX века об упадке русской литературы, нимало не смущаясь тем, что ещё здравствовали Л. Толстой, А. Чехов, В. Короленко, Н. Михайловский. Легко представить, как бы охарактеризовал критик либерализм советского «бабьего лета». Впрочем, об упадке отечественной литературы и её бедности (правда, честной) писал ещё В. Белинский, хотя Россия имела тогда Пушкина и Лермонтова. Короче говоря, как поглядеть. Известный исследователь творчества Андрея Платонова, соглашаясь с метафорой рецензента лишь отчасти, делает оговорку: пожалуй, что и лето, но при условии, когда учитывается историческая перспектива развития советской литературы. В этом случае НЭП действительно может показаться оазисом либеральности. Но вот незадача. Перед автором встают упрямые «детские вопросы» (с. 485–486), побуждающие решать более важные проблемы методологического характера. О них речь.

Избрав для анализа знакомый материал, Н. Корниенко ставит амбициозную и в высшей степени актуальную цель: ответить на главный вопрос XXI века: «Что произошло с русской литературой в XX столетии?» (с. 5). Ответ даётся в заключительной части монографии (особо отметим с. 483), где неоднократно подчёркивается мысль о необходимости морфологического изучения всей советской литературы в целом, а не только «института» критики. Если раньше литературоведы были скованы идеологическими установками и привычно повторяли заклинания о ведущих принципах нашей литературы, включая критику, то Корниенко откровенно говорит о желательности пересмотра традиционных подходов (с. 485). Результат достигается при помощи известных рабочих инструментов: это «метод аналитической хроники» и «реальный комментарий».

Монография привлекательна воссозданием плотного историко-литературного контекста, подкреплённого партийно-политическими документами, без которых многое бы осталось (и прежде оставалось!) не вполне отчётливым. Основная задача большевиков – ниспровержение старой буржуазной культуры и утверждение новой пролетарской. Казалось бы, тема избитая. Реальный комментарий Корниенко позволяет взглянуть на проблему в полном объёме и с максимальной персонифицированностью. Главные идеологи Троцкий и Бухарин от имени РКП формулируют жёсткие требования к писательскому сообществу, исходя из классических постулатов утопизма и упрощённого марксизма. В большевистском варианте эти требования обернулись чистойшей полицией, поскольку, как справедливо замечает автор, ГПУ стало одним из оргцентров литературно-критической, издательской и писательской жизни (с. 11). Чекистское обеспечение партийного агитпропа, благодаря указаниям Ленина и Троцкого, на многие десятилетия будет едва ли не самым важным элементом в работе государственного механизма с огромным штатом «управленцев культурой». Корни-

енко права: оперативные разработки писателей «критиками» из ВЧК-ОГПУ и по сей день остаются закрытыми (с. 30). Потому что «архивная революция» 90-х была недостаточно радикальной, половинчатой.

Исследователь свободно чувствует себя в большом массиве документально-публицистических и литературно-критических материалов, почти в каждой главе обращается к публикациям эмигрантских журналов («Современные записки», «Воля России» и др.), опирается также и на новые работы как отечественных, так и зарубежных литературоведов. Именно поэтому авторские обобщения вызывают доверие. По некоторым частностям поле для конструктивной полемики остаётся открытым, что абсолютно понятно в любом гуманитарном или естественно-научном дискурсе. В первой части книги «Смена вех: идеология и критика» мы видим парад знакомых персонажей из разных литературных группировок, которым посвящены отдельные, весьма содержательные главы (но почему-то отсутствует ЛЦК – литературный центр конструктивистов). Внутри глав выделяются своеобразные микросюжеты, иллюстрирующие какую-либо актуальную проблему или касающиеся конкретных художественных текстов оттепельного периода. Так, в пятой главе предложен любопытный подбор откликов на роман Ф. Гладкова «Цемент», ныне несправедливо забытый.

Жанр книги в большей части напоминает учебное пособие, где материал чётко структурирован, в конце глав следуют выводы, а финал украшен приложением, содержащим наиболее яркие, с точки зрения автора, критические тексты-статьи либо рецензии. «Материалы печатаются в хронологическом порядке, – сказано на с. 338, – с необходимыми пояснениями и краткими примечаниями». Даже в этой короткой фразе чувствуется высокий уровень научно-педагогической культуры автора, думающего о своём, в первую очередь молодом, читателе. Действительно, кто помнит, допустим, Н. Фатова, М. Левидова, В. Друзина

и некоторых других, некогда популярных бойцов литературного фронта?

Академическая тема, трактуемая обычно в бесстрастной, почти безличной форме, обретает у Корниенко волнующие драматические черты. Литературно-политическая борьба выглядит в монографии если и не как «драма идей», то, по крайней мере, как драма социокультурных проектов и уж точно человеческих судеб. Действительность не подтвердила путаную лефовскую концепцию «искусства жизнестроения», сняла с повестки дня теорию непосредственных впечатлений, за которую жестоко третировали А. Воронского. И остудила горячие головы комсомольских поэтов с их наивными мечтами о победе мировой революции. Но крестьянский вопрос, ключевой для России и русских, остался в биографии страны надолго. Автор книги делает точное наблюдение: «В некотором смысле весь комплекс крестьянских вопросов литературы эпохи "нэповской оттепели" вернётся в общественное и гуманитарное сознание "тихой лирикой" и деревенской прозой 1960–1970-х годов, рождёнными эпохой второй советской оттепели. Много повторится вновь» (с. 183). Две первые главы второй части исследуют крестьянскую тему на материале политических и литературно-критических дискуссий того времени, причём в контексте комсомольской лирики образ С. Есенина и негативное к русскому поэту отношение «главных комсомолистов» разворачивают тему в новом ракурсе.

Что делать с крестьянами? «Ответ Ленина исключал всякую двусмысленность», — напоминает автор монографии. Концепция переделки человеческого материала предполагала «осовечивание» и других социальных слоёв общества. Некоторые романтически настроенные интеллигенты сами напрашивались, обращаясь к власти: «Возьми меня, переделай и вечно веди вперёд». Это можно назвать тотальной большевизацией, похожей на капитуляцию. И здесь уместно вспомнить страшноватую утопическую картинку буду-

щего, нарисованную Лениным в беседе с Г. Уэллсом в 1920 году.

«Уже сейчас, – сказал Ленин, – мы не всю сельскохозяйственную продукцию получаем от крестьянства. Кое-где создано крупное сельскохозяйственное производство. Правительство взяло в свои руки большие земельные владения там, где условия этому благоприятствуют, и землю обрабатывают не крестьяне, а рабочие. Возможно, это получит дальнейшее распространение. Сначала такой порядок установится в одной губернии, потом в другой. Крестьяне остальных губерний, эгоистичные и неграмотные, ничего не узнают, пока не наступит их черёд...» Добавим от себя: черёд переделки. Далее Уэллс пишет: «Справиться сразу со всей массой крестьянства, пожалуй, нелегко, но порознь это можно сделать безо всякого труда. Когда речь зашла о крестьянах, Ленин придвинулся ко мне поближе, он заговорил теперь конфиденциальным тоном. Как будто крестьяне и в самом деле могли подслушать наш разговор».

Эпическая невозмутимость гостя едва способна скрыть искреннее удивление. Уэллс, приехавший в Петроград для того, чтобы понять (под впечатлением большевистской идеи о мировой революции), насколько реально осуществление его мечты о создании мирового правительства, меньше всего думал о судьбах миллионов русских крестьян. Возражая кремлёвскому мечтателю, писатель-фантазёр всё же заметил, что такой эксперимент весьма труден, ибо «нужно переделать самые их (крестьян. – С.П.) души»¹.

Крестьянские восстания в Сибири и на Тамбовщине показали: мужики-таки «подслушали» и всё поняли, не пожелав дожидаться переделки своих душ. Так стоял крестьянский вопрос в жизни. А в литературе?

Фактически так же, и вывод сделан автором на примере неумолимо ужесточавшейся партийной маркировки писате-

¹ Уэллс Г. Россия во мгле. М.: Прогресс, 1970. С. 106.

лей, кровно связанных с «соломенной Русью»: крестьянские – новокрестьянские – мужиковствующие – крестьянствующие и, наконец, кулацкие. За редким исключением все они подлежали переделке. Результаты эти известны.

«Источниковедческие коррективы» Корниенко не отменяют некоторых прежних схем и оценок, а расширяют возможности литературоведческого анализа. Отдавая должное предшественникам (А. Воронский, В. Полонский, А. Лежнев), исследователь объективно оценивает и тех, кто слишком долго оставался на периферии научных изысканий. Выведен из тени критик И. Груздев, близкий к серапионам и вспоминаемый чаще всего только как биограф и корреспондент Горького. Из пучины забвения извлечён критик Г. Горбачёв, тоже питерский. Начинающих филологов ждёт первичное знакомство с Б. Арватовым и Г. Якубовским. Общая картина становится правдивее и ярче.

Есть, однако, в монографии и страницы изначально полемические, по-своему экстравагантные. Сюжеты последних глав, ценные сами по себе и содержащие немало точных наблюдений, идут, увы, вдоль магистральной темы. Безусловно, Есенин и «есенинщина» просвечивают в романах Л. Леонова и А. Платонова («Вор» и «Чевенгур») и потому заслуживают историко-литературного зондирования, равно как и ранний М. Шолохов, прочитанный в контрапункте с комсомольско-деревенскими текстами. И всё же прямого отношения к становлению института критики здесь нет. Глава о Шолохове, кроме того, отягощена гиперболами и произвольными ассоциациями. Так, автор находит упоминание, что однажды Шолохов прочёл в Вёшенской лекцию о Маяковском для молодых газетчиков. Шолохов, читающий лекции, – это что-то новое в биографии писателя, не замеченного на литературно-критической ниве. «Конечно, хорошо бы текст лекции иметь, – мечтает автор книги, – но его нет» (с. 327). Конечно, хорошо, но такого текста в природе не существует, потому что Шолохов просто беседовал с акти-

вистами. На столь зыбкой основе делается предположение, что в 1931 году в Москве Шолохов «не оставил своим вниманием» одиозную тему связи Маяковского с Л. Брик и её новый брак с Виталием Примаковым. Где же аргументы и факты? Исходя из сугубо внешних, отчасти апокрифических сведений, Корниенко пишет: «Смеем утверждать, что идеи утраченных лекций о Маяковском вошли в формулу и пафос образа Макара Нагульнова, столь же "монументально природного" человека, как и Маяковский» (с. 327). В той же главе ещё раз: будто бы на образе Макара «лежит ответ личности Маяковского» (с. 317–318). Увлечённая соблазнительными аналогиями, Корниенко забавно обыгрывает случайные журнальные совпадения. Одно из них такое. Оказывается, в комсомольской «Смене» рассказ Шолохова «Коловерть» напечатан рядом со стихотворением Маяковского «Выволакивайте будущее». Мало? Но писатели «не раз встречались на страницах тонких журналов» (с. 318). Но профессионалы знают, что подобные «встречи» ровным счётом ничего не доказывают.

Не менее странно, сознательно даже эпатажно заявлена параллель между казачкой Лушкой, «слабой на передок» (в «Поднятой целине») и... Лилей Брик. Фантазийный элемент подкрепляет ссылка на повесть О. Брика «Непопутчица», где разворачивается «универсальный любовный сюжет». Сравнение беспутной бабёнки из казачьего хутора с хозяйкой московского литсалона бесспорно хромает. Защитим женщину. У Лушки кроме мужа, свихнувшегося на мировой революции, только один молодой любовник, а после развода с Нагульновым она крутит роман только с Давыдовым, если идти строго по тексту. Героиня Шолохова почти целомудренна, любовные же связи Л. Брик не поддаются учёту.

Вернёмся к центральному вопросу о судьбах русской литературы в минувшем столетии. Зеркало критики отразило самые существенные фазы идеологического самоопределения писательского сообщества. Не многие из членов этого

сообщества с честью выдержали давление новой политической атмосферы. Анализ Корниенко помогает сделать шаг вперёд в изучении сложнейших связей и процессов с позиций современной филологической науки. Согласимся с исследователем: филологу интереснее заниматься своими материями, а не партийно-политическими обстоятельствами. Однако вне предлагаемых историей обстоятельств целостный анализ советских литературных феноменов невозможен.

Рассказывают, что по возвращении на родину после долгих лет эмиграции Г.В. Плеханов изумился лицам соотечественников. Что-то изменилось. Эти изменения в лицах нашли объяснение у Н.А. Бердяева: «В России появился новый антропологический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная поступь, иные жесты, чем в типе старых интеллигентов»¹. Представим себе, что лакей Яша из «Вишневого сада» по возвращении из Парижа после революции стал инспектором РКИ. Это как-то нагляднее. А изменения в социуме всегда настораживают. Автор нового монографического исследования чуток к переменам. Идеи, лица, дела — всё оказалось иным и неожиданным в эпоху нэповской оттепели. Проследивая эволюцию основных «концептосфер», Корниенко вовлекает читателя в интереснейшее интеллектуальное пространство, каковым была «реальная» история русской литературы в XX веке.

¹ Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 101.

ЖУРНАЛ ОТВЕТОВ

Мне трудно представить нашу филологическую науку без «Вопросов литературы». Вокруг не так уж много журналов, где бы сочетались (и так органично) высокий академический уровень с остросовременной литературно-критической диалогистикой. На протяжении почти полувека журнал спешествовал развитию теоретической литературоведческой мысли, на его страницах всегда находили отражение самые актуальные проблемы современного литературного процесса. Своим лицом журнал неизменно обращён к широкой читательской публике, прежде всего к студенческой, вузовской. Я знаю людей, достаточно далёких от литературы профессионально, которые являются постоянными читателями (и подписчиками!) журнала. Это говорит о многом. Можно с уверенностью сказать, что демократическая часть современной интеллигенции воспитана и «Вопросами литературы» тоже, журналом, для которого фундаментальные ценности культуры всегда приоритетны.

«Вопросы литературы» я считаю своим журналом не только потому, что с давних лет имею честь быть его автором. В конце концов, дело не в личных (понятно-эгоистических) мотивах. Важнее другое. Журнал активизировал научное самоопределение моего поколения филологов, формировал вкус, поднимал насущные проблемы, возникавшие в нашем профессиональном сообществе. В этом смысле роль «Воплелей» трудно переоценить. Также с трудом верится, что издание стало юбилеем солидного возраста. Полвека – не шутка.

А я отчётливо помню номера первых лет, многие публикации поздней оттепельной поры и даже разноцветье обложек с заголовками статей и анонсов. Было отрадно думать, что кроме вопросов истории, философии, языкознания и проч. законный статус обрели и вопросы литературы. Так радуются появлению собственного дома. Вопросы эти требовали открытого обсуждения, свежих методологических подхо-

дов. Филологическая молодёжь, считаю, обязана знать, как активно журнал участвовал в обновлении концепции развития советской литературы: после XX съезда имлийский трёхтомник вызвал оживлённые споры в литературоведческих кругах. Предстояло вернуть в литературный контекст имена и книги уничтоженных Сталиным писателей и таким образом выправить, насколько возможно, деформированную матрицу отечественной литературы. Освобождение от ржавчины давалось нелегко. Выдающаяся роль в этом процессе принадлежала Леониду Ивановичу Тимофееву, одному из серьёзнейших авторов журнала, известному литературоведу и критику. Ярким проявлением живой теоретической мысли были работы В. Кожина, П. Палиевского, Г. Гачева – бесспорный актив «Вопросов литературы».

Не стану перечислять плодотворные дискуссии минувших десятилетий, назову лишь две наиболее характерные. Это «Литературная критика ранних славянофилов» и обсуждение романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь имела место полемика такого качества, которая, безусловно, двигала вперёд науку, являясь в то же время выражением общественного мнения о вещах сложных и противоречивых.

Я пришёл в редакцию журнала в начале семидесятых, и первым, кто приветил меня, был Л.И. Лазарев, тогдашний зам. главного редактора В.М. Озерова. Редакция в те годы ютилась на втором этаже старенького здания на Кузнецком мосту. Нас с Лазарем Ильичом разделяло двадцать лет. Он фронтовик, известный критик и кандидат филологических наук. Я литератор ещё зеленоватый и тоже к.ф.н. К ветеранам Великой Отечественной – особое уважение/отношение. Мы подружились. В Лазаре Ильиче легко соединялись требовательность, редакторская зоркость и доброжелательность к начинающим авторам. Даже если что-то отклонял. Но всегда по-товарищески, не обидно. Я частенько просил его прочитать мой материал побыстрее или поставить в ближайший номер. Неизменным ответом, украшенным лукавой улыбкой, было: «Мухтар постарается».

После Лазарева я пошёл по рукам сотрудников. Сначала меня опекала внимательная Б.Л. Маргулис. Потом в отделе русской литературы моим куратором стала добрейшая, деликатнейшая Нина Николаевна Юргенева. Настоящее гостеприимство проявляли Галина Константиновна Львова и Людмила Михайловна Шарапова. И, конечно, незабвенная Танечка Бек в разные годы её работы в журнале. Благодаря им я окончательно уверовал в Вечную Женственность без какой-либо мистической подоплёки.

Атмосфера в редакции воспринимается мной как почти семейная, почти домашняя. Тут и в помине не было того смехотворного снобизма или нагловатого равнодушия, каковыми отличаются некоторые журналы-толстяки «с направлением». И то сказать: noblesse oblige.

«Вопросы литературы» есть прежде всего издание научное, следовательно, обязывающее авторов быть максимально корректными в академическом смысле. Значит, журнал воспитывает. Под занавес в каждом номере дают что-нибудь смешное, но исключительно в связи с... вопросами литературы. Хочется и впредь видеть улыбочивые страницы, они «к лицу».

Особенно памятна история с моей работой о Мережковском. Дело было так. Однажды вечером, в начале бабьего лета 1975 года, меня пригласил для беседы заведомо русской литературы Семён Иосифович Машинский. Редакция к тому времени уже переехала в бывший дом Нирензее, некогда самый высокий в Москве и где на уровне десятого этажа в годы НЭПа размещалась открытая площадка летнего кафе. Высотка и заведение в Большом Гнездиновском помнят многих писателей. И вот я у Машинского в его просторном кабинете. «Знаете, – говорит он, – мы начали серию публикаций о русских литераторах, вычеркнутых из истории литературы. Уже напечатали статью Латыниной о Розанове, чуть раньше прошла статья Гайдено о Леонтьеве. Скоро появится Ерофеев, он написал о Шестове. Хотите поучаствовать?»

Я, разумеется, хотел. На вопрос Машинского, о ком бы я смог написать, не раздумывая назвал Мережковского, поскольку, ещё будучи студентом, изрядно штудировал собрание сочинений автора «Грядущего Хама». На том и поладили.

Через несколько месяцев статья была готова. Поддержка «Мухтара», Машинского и Юргеновой много значила. Однако ситуация осложнилась. Фигура Мережковского считалась тогда одиозной, и мою статью передали на суд влиятельных членов редколлегии М. Храпченко и Г. Бердникова. Литературные генералы включили красный свет. Храпченко объявил свой вердикт по телефону, претензии второго оппонента, сформулированные в письменном отзыве, сводились к тому, что у автора перебор с «реверансами» Мережковскому, и, что совсем скверно, я слишком увлёкся анализом религиозных исканий своего героя.

Редакция не сдавалась. В начале 1978 года статью отправили на отзыв А. Мясникову. Первая фраза в нём: «Полагаю, что статья С. Поварцова заслуживает публикации». Далее следовала серия упрёков, оговорок и благих пожеланий, заканчивающаяся так: «Полагаю, что если автор найдёт возможным посчитаться с этими замечаниями, статья его станет ещё лучше». Я приободрился в расчёте на диалог. На исходе 1979 года журнал анонсировал статью на будущий год под утешительным (для начальства) заголовком «Духовный крах Мережковского». Но и в 1980 году читатели ничего не узнали о старом русском декаденте. Как любит говорить наш популярный телеведущий, вот такие, братцы, были времена...

Здесь просится на бумагу сакраментальная фраза «шли годы». И когда однажды раздался телефонный звонок, я обрадовался, услышав в трубке голос Лазарева, не забывшего про статью. Она лежала в ящике моего письменного стола, абсолютно никем не востребованная. «Мухтар» постарался, и публикация состоялась. Катил под гору 1986 год. Так я понял, что перемены начались.

Судьба уникального в своём роде журнала – тема отдель-

ного разговора. Второе полустолетие видится мне если не стопроцентно благополучным, то, по крайней мере, определённым в том отношении, что интерес к вопросам отечественной литературы наша творческая интеллигенция сохранит. Я верю в это вопреки предупреждениям скептиков. Всё громче толкуют они о закате эпохи литературоцентризма. С невозмутимостью бухгалтера констатируют высокий процент образованных людей в обществе, не стыдящихся признаться, что не читают художественную литературу. Мрачно звучат диагнозы о «толстых» журналах как всего лишь о «консервативном сегменте литературной системы»¹.

Неужели? Тогда караул, ребята! Хотя основания для тревоги имеются, ибо молодёжь воспитывается теперь в значительной мере на «сетевой» литературе, глагол «скачать» (из Сети) оказывается предпочтительнее архаичного «читать». Писатель уже не воспринимается как властитель дум, тем более пророк, он не ответчик на «проклятые» вопросы, не учитель жизни, не махатма.

А раз так, то ведущий сотрудник ВЦИОМа бесстрастно фиксирует «падение влияния критики и нарастающую неопределённость профессиональной роли критика, но особенно – литературоведа...»².

Могу доложить сотруднику: тревожные симптомы ещё не гарантируют неизбежности летального исхода. Налицо скорее кризис. Умные люди нам объясняют, что кризис – это не конец, а только момент движения. Мы не стоим на месте, но, может быть, сейчас на столбовой дороге пробка, переживаемая болезненно. Мы в пробке. А по ком звонит колокол – покажет время. Поэтому я с оптимизмом думаю о будущем «Вопросов литературы» и за нашу профессию спокоен. Другое дело, что интеграция гуманитарных методов исследования неизбежна, междисциплинарные и пограничные связи

¹ Дубин Б. Действующие лица и исполнители. Литературная культура постсоветской России // Свободная мысль. 2003. № 1. С. 101.

² Там же. С. 106.

становятся всё более приоритетными. Не потерять бы чувства меры! Ведь существует же обратная сторона медали, то бишь опасность растворения традиционного литературоведения в родственных науках (философия, лингвистика, культурология). Проблема есть.

Я не теряю надежды, что журнал сохранит свои лучшие традиции и привычные рубрики, наполнив их новым содержанием. Вполне актуальны, например, портреты выдающихся филологов современности – Д. Лихачёва, Ю. Лотмана, С. Аверинцева, М. Гаспарова, В. Топорова. Их творческий опыт бесценен.

Верю и в перспективность дискуссий по животрепещущим темам. Чем острее, тем лучше. Формулировки «круглых столов» могут быть сознательно провокативными в противовес былым аморфным вроде «о путях развития» или «о современном состоянии».

Необходимо сказать и о том, что «Вопросы литературы» – это издание не только для литературоведов, но и для писателей. Кажется, ни один наш журнал так не анкетировал (по разным проблемам) современных авторов, как «Вопросы литературы». Такие интереснейшие «ответы на анкету» могут составить поучительную хрестоматию для изучения отечественной литературы XX, уже прошлого века.

Пятидесятилетие «Вопросов литературы» – праздник нашей культуры.

2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Физиков. Проза учёного, критика, краеведа</i>	3
---	---

<i>Письмо читателям</i>	11
-------------------------------	----

I

Пётр Ребрин	12
Леонид Шевчук	40
Ефим Беленький	60
Эдмунд Шик	63
Вильям Озолин	68
Александр Санин	82
Виктор Утков	103
Виктор Васильев	107
Николай Третьяков	121
Вадим Берников	127

II

К биографии Всеволода Иванова	137
Стихотворение Леонида Мартынова «Эрцинский лес»	164
Ахматова и театр Вертинского	179

III

Пароль остаётся навсегда	188
Книга, рождённая у микрофона	192
Неистовые ревнители – кто они?	196
По-новому об известном	202
Власть над литературой	209
Первая «оттепель» на термометре исследователя	217
Журнал ответов	225

Литературно-художественное издание

Сергей Николаевич Поварцов

ТЁПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ

Страницы литературного дневника

Редактор О.Г. Даниленко

Корректоры: О.В. Шилехина, О.Н. Черных

Дизайн, компьютерная вёрстка Е.А. Пичугиной



Подписано в печать 08.05.2014.

Формат 84x108/ 1/32. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 12,18. Уч.-изд. л. 10,53.

Тираж 500 экз. Заказ № 228603

Отпечатано в типографии ООО «Омскбланкиздат»

г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34

+7 3812 212111

www.omskblankizdat.ru



КНИГИ АВТОРА

Над рекой Тишиной
Сто жемчужин
Причина смерти - расстрел
Омская стрелка
Всё прошлое с нами
Быть Бабелем